ВЛАДИМИР КАВТОРИН

ОДНАЖДЫ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ

ВЛАДИМИР
КАВТОРИН

ОДНАЖДЫ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ

РАССКАЗЫ

«Современник»
Москва
1985

К2
К12

Рецензент:
А. СКАЛОН

Иллюстрации **А. КРЕТОВА-ДАЖДЬ**,
оформление **В. ГАЛКИНА**.

Кавторин В. В.

К12 Однажды мы встретились: Рассказы.— М.: Современник, 1985.— 191 с. (Новинки «Современника»).

В пер.: 1 р. 10 к.

От дачных поселков под Ленинградом до Сахалина и от Мурманска до глинистых пустынь Мангышлака — такова «география» этой книги. Герои ее — труженики дальних строек, жители поволжских деревень, инженеры и журналисты. При всем разнообразии героев и ситуаций, в которых они оказываются, рассказы Владимира Кавторина, однако, объединены общей внутренней темой — размышлениями о судьбах того поколения, чье детство пришлось на первые послевоенные годы.

К $\frac{4702010200-106}{М106(03)-85}$ 47—85

ББК84Р7
Р2

ЯШИНА ЖИНКА

1

Похоронке она не поверила.

Соседка Нюся, уборщица на почте, принесла ее, когда все вокруг было уже вверх дном. За соцгородом время от времени бухали взрывы, серая пыль ходила тяжелыми тучами, и за окнами надрывно, утробно ревели отгоняемые на восток непоеные стада. Еще накануне, будто бы наступая, строем и с песней прошли через город свеженькие войска, а потом всю ночь и весь день ехали и брели назад — рваные, в грязных бинтах и такие пропыленные, что одни глаза посверкивали на черных, будто у негров, лицах. С утра горела вторая школа, никто ее не тушил.

Долго ли в такой вот суматохе перепутать что-то в серой бумажке, посылаемой безответной бабе? Да и слишком уж, выходило, мало повоевал ее Яша — недельки три. Разве так бывает? На него непохоже, он задиристый...

Она, конечно, поплакала, но и того не дали толком — опять прибежала Нюська, сказала, что разрешили брать с элеватора пшеницу. Побежали в Суслицкое, но элеватор уже горел, пламя гудело, ухало, кто-то там истошно вопил — должно быть, не мог выбраться. Говорили: прилетал немец бомбил. Бабы стояли, уронив руки, смотрели, как расползается по небу жирный копотный дым, и, верно, не ей одной потом долго в самых страшных снах являлся этот запах горящего хлеба.

Через два года война с грохотом прокатилась назад. В оккупации вся жизнь заморозилась как-то, заклякла: одни страхи, слухи, внезапные облавы,— и вот все отошло, повернуло на прежнее. С осени открыли школу, ее взяли уборщицей, или, как говорили тогда, нянечкой, выдали карточки на нее и девчонок, и стало ясно, что раз уж до этого дня дожили, то можно опять рассчитывать жизнь на годы вперед. Даже крыша над головой появилась. Нахаловкой вселилась она в барак для дорожных рабочих; сильно шумели, грозили, а назад в погреб ее с детьми все ж не выселили. И то — их дом сгорел начисто. Нечего было и мечтать поднять его одной, без Яши.

Чуток обжившись, опять она наладилась ждать, и теперь

уже основательней, терпеливей. Штаны его и две уцелевшие рубашки выстирала, погладила и сложила в самом нижнем ящике комода. Раз все вокруг поворачивало к прежнему, значит, должен был и Яша прийти, а как же иначе?

После Победы жила какое-то время как в судорогах, часа не могла высидеть, бегала вечерами на станцию, встречала эшелоны, часто плакала от чего-то смутного, не выразимого словами. Солдатики угощали ее девчонок сахаром, хлебом... А потом и это все отошло. Был страшный сорок шестой, картошка сгорела, у Любки опухали ножки, Анка схватила воспаление легких, потому что топили кукурузными будылками, за которыми надо было ходить далеко в степь, таскать мешками. Той зимой хлебнула она, может, горше, чем в оккупации, и в лихую минуту, к весне, жадная толкучка подстерегла, выхватила из ее рук последнее Яшино барахлишко. Картошку, что на него выменяла, съели за два дня, но она все равно ждала, ждала...

Только в пятьдесят каком-то, уж не упомнить каком... К Тоне Лощилиной со второго поселка вернулся как раз тогда сын, перемещенный и побывавший аж в Аргентине, и была шумная встреча, много было пролито бабьих слез. Вот со встречи этой вернувшись и вспоминая рассказы о стране, что лежит по другую сторону земли и несхожа с нашей даже травой и деревьями, она вдруг заплакала и сказала себе: «Всё! Мабуть-таки Яшеньку убили!» — и стала потихоньку прилаживать себя к этой мысли, пока еще необозримой во всем своем объеме и страхе.

Девчонки были уже большие, учились в техникуме. Она так крутилась по разным делам, что на неделе и видела-то их редко. Когда в ближайшее воскресенье перед обедом она, собравшись с духом, все же сказала им, что «папочку нашего, мабуть, убили», они не заплакали, а переглянулись. «Мамо,— сказали,— та вы шо? Чи вы думали, що вин жив?»

Девчонки ее выросли разными. Спокойная, обстоятельная Анка сразу же, через год после техникума, вышла замуж, а вот с Любкой-бесенком хлебнула она слез, но и той, хоть не сразу, а тоже повезло на хорошего человека, и ее жизнь выпрямилась, потекла ровно, радуя материнское сердце. Внуки поспевали один за другим, занимая руки и мысли, не давая особо себя помнить и горе свое тешить. Только иногда, в свой день рождения или в какой большой праздник, когда все собирались вместе и было шумно, тесно, ребятня затевала беготню и визг, когда зятья, красные от выпитого, уже боролись на локотках, а дочки выхвалялись своими домами... В самую такую минуту она вдруг исчезала из-за стола и,

запершись в чуланчике, плакала, что Яши вот нет и никто ей не скажет: «Ну, Фроська, ты у меня и баба! Всем бабам баба!» А ведь теперь-то самое и сказать бы про нее эти слова — какую семью подняла!

Наплакавшись в чулане, успокоившись и умывшись, она возвращалась к столу и издалека, с подходцем, заводила, что вот надо бы съездить, поискать папину могилку. Люди многие ездят теперь, находят. Дочки не спорили, вздыхали: «Надо бы!» — да всё откладывали — своя у них жизнь кипела в самой золотой и сочной поре, недосуг было. Да и как ты найдешь ту могилку «в районе села Рогачек», когда там, может, и холмика давно нет и запахано все.

Все ж таки она съездила. Пожилые бабы, сидевшие на крылечке рогачинского магазина, вместе с нею поплакали, объяснили, что могилок раньше было много по всей степи — «народу тут накрошили и отступая и наступая, насиделись мы, натряслись в погребах»,— да потом все останки свезли до школы, сделали одну большую могилу с памятником.

Могила эта была на краю школьного сада — длинный ровный холмик, обсаженный березами. На большом сером камне выбиты и закрашены золотой краской фамилии. Их было много, фамилий. У тети Фроси даже голова закружилась, пока она, стоя на самом солнцепеке, читала весь список. Ващука Я. С. не было, но внизу, в конце списка самыми крупными буквами стояло: «...и многие, многие другие».

— Многие, многие...— повторила она вслух, опустилась на коленки и заплакала, запричитала, припала щекой к жестким остицам выгоревшей травы.

Поездка эта совсем ее успокоила, даже по праздникам слезы не допекали больше. И было это шесть лет назад.

И вдруг, позапрошлым летом...

Она и на базар-то в тот день не собиралась — куда, мол, по такой спеке? Но Юлюшка, младшая внучка, закапризничала, не стала есть магазинного яичка, оно и в самом деле рыбой припахивало, пришлось идти, искать ей «шось свеженькие, у бабив».

И пока тетя Фрося ходила с Юлюшкой по рядам, смотрела против солнца яички, зажимая их в кулаке, нюхала толстые и крепкие, чуть припеченные корочки на глечиках с ряженкой, он, старик этот, все ходил за ними в отдалении, ничего ни у кого не спрашивая. Приметив его, тетя Фрося нехорошо както забеспокоилась, не стала уже покупать ряженку, а, крепко сжав внучкину руку, поспешно двинулась прочь. В конце рядов оглянулась: он еще сильнее наддал ходу и был уже рядом.

— Почекайте! — позвал.

Она хотела тут же свернуть за угол, в новую толпу, но остановилась. Старик подошел запышкавшись, держась за сердце,— присадковатый такой, в сапогах, серых штанах и грязной клетчатой рубахе. Шляпа из желтой соломки сбита на самые брови, а на щеке странный, узлом, шрам.

— Чи вы не Яши Ващука жинка будете? — спросил.

— Яшина...

— Та як же вы живы? Дитки як? — голос его дрогнул.

— Ничого... Дитки повыросли, замужем оби дочурки.

— Внучка?

— Внучка, Юлюшка. Любина цэ...

Она хотела уже спросить: «А вы сами кто ж будете?» — но запнулась и сказала, как бы отгораживаясь:

— А Яшу на фронте убили.

Глаза старика, посаженные близко друг к дружке и совсем черные, с кровавой сеточкой в уголках белков, все время косили, прятались. В щеках его, в их непробритых морщинах что-то трепетало, какая-то судорога, которую он гасил, косо дергая жилистой шеей.

— Та знаю! — сказал он с досадой и как-то так, что внезапный страх связал ее по рукам и ногам дурной слабостью.

А он помолчал и тихо добавил:

— Знаю. Це ж я его вбыв,— и, сразу повернувшись, пошел прочь, загребая пылюку носками чуть внутрь повернутых сапог.

Она, приоткрыв рот, смотрела ему вслед, и ноги ее слабли, подгибались.

— Бабушка,— дергала руку Юлюшка,— не надо, бабульк, мне страшно!

Она очнулась, не дала себе упасть.

— Юлюшка,— прошептала,— та цэ ж вин!

Они побежали к воротам на Перевоз, за которыми скрылся старик. Да какая из нее теперь бегунья! Там его уже и следа не было.

По дороге домой она то плакала, то усмехалась, что-то бормоча, и Юлюшка тоже испуганно плакала. Еще с крыльца, увидав в окно дочку, крикнула: «Люба, папа наш жив! Жив папочка ваш...» — и опустилась на ступеньки.

Та перепугалась, заметалась без толку, поила ее какой-то пахучей дрянью и уговаривала, что все это ей померещилось, потому как этого не может быть — она ж сама была на могилке.

— Та як же нэ вин,— бормотала тетя Фрося.— Вин! Ось и Юлюшка бачила.

Сил не было объяснять, голова кружилась, она дала отвести себя в дом, уложить на койку. Но назавтра, проснувшись очень рано, она в шесть часов утра была уже у старшей и опять уговаривала немедленно ехать, искать...

2

Вот сколько ни рассказывает тетя Фрося свою историю, а в этом месте всегда начинает плакать, винить себя, ругать дочерей и, если не отвлечь ее чем-нибудь, расстраивается ужасно, почти что заболевает.

Отвлечь же ее проще всего внучкой.

— Погляньте,— говорю,— погляньте, теть Фрось, что это малое вытворяет!

Ничего особенного Юлюшка не вытворяет. Просто пытается приладить бант на рваное ухо Жулика, ленивой, вечно сонной дворняги. Но мне — лишь бы бабка голову подняла, на нещечко свое глянула. А там уж она сама не может не улыбнуться, не позвать внучку... Схватит ее за плечики, притянет к мягким старческим коленям и фукнет в легкие льняные волосенки. Та, хитруля, выгибается, губки дует:

— Н-ну! Не балуй!

— Ой, и за что ж я так ее люблю, худобу эту, задоенное мое! — тормошит ее тетя Фрося.— Ну? С чего ты такая худоба, а?

— Не худоба я задоенная, пусти! Это коза у Люськи худоба задоенная.

— Коза? А ты кто у бабки?

— Я мало́е.

— Ой, мало́е ты мое дурное!

Когда старуха потрется наконец о внучкин нос собственным, расцелует и, шлепнув слегка, отпустит играть, глаза ее опять светятся так же молодо, как когда-то на барачном крыльце, где миловала она свою Любку.

Тогда она была худой, сильной, ширококостной женщиной; вскидывала Любку высоко-высоко над головой и ловила ее, хохоча. Теперь не то. В последние годы тетя Фрося нехорошо располнела, ноги у нее отекают, зимой она не встает с постели месяца по два, и Юлюшке давно наказано ни под каким видом не проситься к бабе на ручки.

После войны, до середины сорок восьмого, тетя Фрося жила рядом с нами. Наш барак назывался «плоским» — на весь поселок у него одного не было двускатной крыши, а их — «бабьим». Так уж там подобралось, что жили одни вдовы и даже сынов у них почти не было — всё дочки. Тетя Фрося

занимала угловую комнату — двор в двор, сарай в сарай с нами. Любка старше меня на год, а Анка на целых три, но играли мы вместе.

Больше всего нравилось мне тогда играть в «блинчики». Я был мельником, то есть вытирал, высверливал чем-нибудь ложбинку в обломке кирпича, осторожно ссыпая красноватую муку, а Любка пекла — разводила ее водицей и аккуратными капельками выливала на кусок жести. Капельки быстро подсыхали на солнце и превращались в румяные лепешечки, которые в самом деле хотелось съесть.

Это была дневная игра, вечером было другое — чижик, прятки, ауканья... Во дворах дымили летние печки; в бабьем бараке печек, впрочем, не было — просто несколько кирпичин у крыльца и костерок между ними. Горит в этом костерке прошлогоднее будылье, кизяки, кипит чугунок, пахнет картошкой, дымом, а воздух становится все холодней, мы начинаем «ловить дрыжики» и всё отчаянней ждем, принюхиваемся...

После еды уже не пятнаемся, не стукалимся — просто сидим меж мамками на длинном крыльце, и нам тепло с ними, уютно. Разговор идет самый разный, но вдруг обязательно всплывет, что где-то то ли в Суслицком, то ль в Каменке — нашелся, вернулся еще один «погибший» и что это, следовательно, вполне возможное, даже обычное дело. С тем, что дело возможное и обычное, все сразу же соглашаются, потом все ж разгорается спор: у кого больше прав, к кому первой должен прийти убитый муж.

Тетя Фрося спорить спокойненько не умела — вскакивала и, уперев руку в костистый бок, кричала, что вот к ней-то первой и вернется, к ней, потому как она не какая-нибудь неряха, у нее двое, да ухоженные, не то что у некоторых, а к тому же она сама Яшку и научила, как любую смертяку перехитрить, не хуже ведьма́чки!

И вот теперь, когда она отпускает Юлюшку, мы долго с ней говорим о тех бараках, о тамошних наших соседях, кто и куда из них делся, и я осторожно напоминаю о странном их женском споре.

— А шо ж ты думал? — говорит тетя Фрося.— Хоть ту же Зиновьиху возьми: девчонка вечно у нее в соплях до пупа, платьишко грязное, рваное, а мать все по сторонам зыркает: с кем бы это поджиться! Да разве ж то было б по-божески, чтоб к эдакой да вернулся? А я, хоть ведьмачить и не ведьмачила, но как я немцев его обдурить научила, так и вышло.

— Да откуда ж вы знали, как надо?

— А то нет! С чего баба умная — бо на базар ходит, а там

всё знают. У Яшеньки ж сперва бронь была. Забрали его в августе, уже як завод увезли. Я его и научила: не повезет, попадешь в окружение, шоб сюды ни-ни. Сюды на базар с Каменки, со Знаменки ездят, то и гляди, признают та донесут. Он же там раскулачку проводил, а села были богатющие, куды!.. Ты ж не знаешь, а его еще до войны знаменские бабы на базаре чуть вилами не закололи за ту раскулачку. Вин вже на заводе робыв, вже его с партии выключили за них же, шо ему жалко их диток було, а воны бачь як? Я и наказала: «В плен, не приведи господи, попадешь — выкинь бумаги уси и скажи, шо не Ващук ты, а Федорченко (цэ моя фамилия — Федорченко). С Красухи, скажи, а там все моя родня, там все помнят, шо ты с партии выключенный, а шо восстановленный, так то и не знают».

— Выходит, он так и сделал?

— Назвался Федорченкой, верно. А в Красуху нашу не пошел, може, не було як, я ж ничого не знаю. Витька шось узнавал там, а молчит. Воны думають, як стара...

И опять она начинает сердиться на дочек и зятьев, не отпустивших ее сразу, как только встретила она на базаре своего Яшу и был он еще жив-здоров; на Любку, сказавшую тогда, что одна она с Юлюшкой и со старшим, Игорьком, лежавшим в больнице, не справится, с ума сойдет, и если бабка-де Игорьку смерти желает, то пусть едет. «Ото ж повертается дурный язык!» В общем, уговорили ее не спешить, послать вторичный запрос. «А шо той запрос? С тех же бумажек на новую переписали, та й выслали».

Только через месяц, плюнув на дочек, уговорила она Витьку Любкиного съездить, поискать. «Любка хоть и родная кровь, а скажу я тебе: такой Витька человек — куда ей! Должна богу за него молиться, а она на него: фыр-пыр! И юбкой круть-верть! Другой бы поучил бабу, а этот перед ней же на задних лапочках: «Любушка! Любушка!» Ну, то ладно, то их заботы, живут, як вмиють».

Повез ее Витька на своих «Жигулях» в выходной.

— А куды ехать? Едем ото и гадаем. И шо ты думаешь? Недалечко от того Рогачека, полчаса не проихалы, е там такая Балочка, хутор, но добрый хутор, с магазином. Витька зашел курева купить и с магазинщицей ля-ля-ля, а она: «Дед Яша Федорченко,— каже,— як же! Вин не з Рогачеку тильки, а з Малого Рогачеку. От нас як по шоссейке, то другой поворот». Мы тут же в машину, туда приехали: «Где хата Якова Стефановича Федорченко будет?» И пацаненок, рыжее такое, мало́е: «Вона,— каже,— хата, а сам деда помер». Я обомлела вся: «Давно?» — «С мисяц як». Ну вот...

Узнали мы, шо жинка его ще зимой померла, а вин с мисяц назад погнав корову продавать, с недилю его не було, а там завернувся та й помер.— Тетя Фрося опять подносит уголок передника к покрасневшим глазам.

Кой-как успокоив ее, спешу заговорить о другом. Дальше я и сам все знаю, даже, наверное, подробнее, чем она, так как Виктор, все там разузнававший, кое-что от старухи скрыл, поберег ее нервы.

Для дяди Яши Ващука война была короткой и несчастливой: их разбили внезапно, на марше, не дав сообразить, что происходит, прийти в себя, окопаться... Он сам рассказывал мужикам в Малом Рогачике, что так ни разу и не выстрелил, а ранен был дважды: в лицо и в ногу. Слыхали мужики, что он и плена хлебнул, и выбраться ему удалось, а вот как — никто толком не знал.

В сентябре сорок первого, рассказывали, каждый божий день гнали через село наших пленных. Один раз у околицы что-то стряслось, переполох какой-то, и весь хвост колонны, человек тридцать, немцы уложили из автоматов тут же, близ кривой балочки. Куча эта, слегка присыпанная землей, и ночью еще шевелилась, стонала. Подойти было нельзя: всё новых и новых гнали по этой дороге пленных.

Но только по весне, когда беременность двадцатилетней вдовы Анны Майкоп давно была замечена, когда уже сажали картошку, у нее во дворе, сперва лишь в густых сумерках, полутаясь, стал появляться угрюмый, хромой и сильно кашляющий мужик с изуродованным лицом. Когда, откуда он взялся — тогда о таком не спрашивали, даже не видеть старались, а позже вроде уже и привыкли: живет и живет. Бабы, народ на чужую жизнь более памятливый, рассказывали Витьке, что он сам из кровавой той кучи вылез, а она лишь прятала его где-то зимой.

В общем, все тут было под вопросом, кроме одного: не жить бы ему на свете, если б не жалючая бабья душа этой самой Анны Майкоп. Она ему и ногу вылечила,— а нога, он сам рассказывал мужикам, сильно гнила, в ней даже завелись черви... Она и от кашля его отпоила молоком с нутряным салом.

Когда наши пришли, то по второму разу Якова Федорченко в армию не призвали. Оставили в МТС как опытного механика. Они с Анной записались, чин чином, сынишка их подрастал, через полгода после Победы появился второй. Но жили они в общем-то худо. Яков попивал круто и иногда, напившись, бил в собственной хате стекла, кричал жене: «Ты! Ногу она мне вылечила! А душу сожрала, да?» Она все про-

щала, никому не бегала жаловаться, как другие бабы, но жизнь ее чем дальше, тем сильней шла враскосяк: старший сын уехал в училище да и хату забыл, младшего посадили, и оба они, пока не сгинули, сильно не любили за что-то отца, бывало, и дрались с ним.

О довоенной жизни его и тем более о прежней семье никто в Малом Рогачике и не слышал. Да и вообще жили Федорченки хоть посреди села, а все одно — на отшибе.

Вот, собственно, и все, что разузнал Витька.

Да, еще о корове... Как раз в те дни, когда тетя Фрося умоляла дочек срочно ехать искать отца, ходил по городу слушок о корове, непонятно кем и как брошенной на рынке и ни за что доставшейся одному хитровану, который просто взял ее за налыгач и привел на свой двор. Но кто именно был этот хитрован, Витька так и не дознался. И та ли это корова? Все ж таки больше ста тридцати километров... Забираться со скотиной так далеко слишком хлопотно, да и зачем бы?

3

После пяти приходят с работы Виктор и Люба.

— О, кто приехал! Здорово, здорово!

— Здравствуй, женишок! Витя, ты знаешь, что это мой женишок? А как же! Мы и целовались когда-то. Только потом он — в кусты. Знаешь? Да... Стали назавтра в куклы играть, я говорю: «Это будет доча моя!» — так он аж позеленел весь, бедный, вскочил: — Только,— говорит,— не от меня, только не от меня!»

— Ну! Скажи какой ты был умный пацан, а? Это ж во сколько лет?

— Ладно,— говорю я Любке.— Ты уже об этом рассказывала. И не раз.

— Ишь! — грозит она пальцем.— Рассказывала! А может, это ты виноват, что от меня потом и другие сбегали, а? С твоей руки...— и смеется, показывая мелкие, но необыкновенно белые, ровные зубы.

Ей уже под сорок, Любке, но замуж она вышла поздно, дети у них маленькие, и чувствует она себя молодой. Никогда не скажешь теперь, что у них со старшей всего два года разницы. Да и то — у Анки дочка невеста, не сегодня-завтра бабкою сделает.

Не успела жена отсмеяться, а уже Витька из погреба лезет, паутину оттирает с запотевшей трехлитровой бутыли: вино у него собственное, не покупное. На кухне жарятся уже кабачки... За столом разговор сам собою переходит в воспо-

минания, тетя Фрося опять и опять говорит о своем муже.

— Та шо он вам сдався, мамо,— с досадой перебивает Любка.— Не вертався до нас, та й нэ трэба!

Со мной и с мужем она говорит по-русски, но с матерью переходит на суржик — так здешние жители зовут свой язык, в котором украинское и русское смешано неразделимо, как в суржике рожь и пшеница.

— От бачь! — с обидой отзывается тетя Фрося.— Бачь, як она батька чортуе! А вин-то... Прибежит с заводу, бывало, сразу Любку на руки — хоп, и в голую попку — чмок!

— Мамо!

— А шо мама? Вся жизнь ему в них была, а им, бачь, «и нэ трэба!» — она вытирает глаза уголком передника.— А шо до нас не вернувся, так кто ж его знает, як там у него всё було — на то война!

— Правильно, Евфросинья Даниловна, правильно,— говорит Виктор.— Есть такая пословица: нужда не ложь, да поставит на то ж.

А сумерки сгущаются, гаснут, и перед сном выходим мы с Виктором покурить в холодке, на крылечке. Фонари почему-то не горят, звезд нет, ветерок еле слышно шуршит грубой виноградной листвой, и такая кругом густая, бархатная, мягкая тьма, какой никогда не бывает у нас на Севере. Где-то далеко поют девичьи голоса.

— Где это? — спрашиваю.

Виктор молчит, потом отвечает:

— Вроде бы у кого на Котовского гуляют, далеко.

Глаза привыкают: становится виден сарай, беленые кирпичи вдоль дорожки, даже черная густая резьба виноградных листьев над головой смутно проступает на чуть зеленоватом небе. Сидим, курим.

— Ты знаешь,— говорит Витька,— я часто о нем теперь думаю.

— О ком?

— Да о дядь Яше, тестюшке моем нечаянном! Старуха-то, знаешь, с чего все о нем заговаривает?

— Ну?

— Казнится в душе: сразу, мол, не поехала, не спасла, не простила. Думает, руки он на себя наложил. Не говорит, но я нутром чую — думает.

— А разве он?..

— Та не-е! Обычное дело: сердце. Ему и вскрытие делали, мне потом все бумаги показывали. Тут — другое,— он затягивается так глубоко, резко, что я слышу треск сгорающего табака.— Тут... Она тех слов все не может забыть,

что он ей на базаре сказал. Ну, что я, мол, его и убил, то есть себя же... И я, представь, не могу. Думаю все. Хотя, по-моему, это вовсе и не о том было сказано.

— В смысле?

— Да ведь «убил» же, а не «убью», так? То есть давно. То есть, я думаю, когда назвался чужой фамилией, отрекся от прошлого... Перерубил жизнь, понимаешь? Ведь это...

— Знаешь, Витя,— говорю,— нам с тобою об этом судить легко. Теоретически-то...

— Нет, не легко,— упрямо мотает он головой,— не легко. Я и не сужу — хочу понять: как это взять да и зачеркнуть все, что прожил, заставить себя забыть... Ведь это и в самом деле вроде самоубийства, а? Вот ты смотри: теща рассказывает, так он совсем другой человек выходит, ничем на того и не похож, что в Малом Рогачике жил. Неспроста это, как думаешь? Мне вот иной раз кажется, что он и не жил там, а мучился, умирал, не смог жить.

— Больно долгая смерть выходит.

— То-то и страшно.

Опять повисает молчание, я внимательно слежу, как малиновый огонек Викторовой сигареты уменьшается и бледнеет, подергиваясь пеплом.

— А теща-то моя! — вдруг хлопает он себя по коленке.— Вот ведь! Эта ничего не хочет от души отодвинуть, а? И ты не гляди, что вся хворая — она еще на земле постоит, поскрипит... Точно!

СМЕРТЬ ЧУЖОГО ЧЕЛОВЕКА

Как и всякий человек тридцати пяти лет от роду, я не видел смерти на войне, смерти в громе орудий, насильственной и кровавой... Но, как и всякому, мне доводилось видеть то, иногда мучительное, иногда благостное, а чаще всего нелепо внезапное завершение земного бытия, которое, по-моему, производит впечатление даже более трагическое, нежели смерть на войне. Впрочем, так мне кажется, быть может, именно потому, что смерти на войне я не видел.

Не видел я и той смерти, о которой хочу рассказать вам. Вообще эта смерть поначалу никакого особенного впечатления на меня не произвела. Умер совершенно чужой человек, ничего хорошего меня с ним не связывало. . Было, конечно, жаль старика, но не больше. Да, поначалу — не больше. Правда, я был перед ним немножко виноват. Точнее, мне так казалось.

Но об этом — лучше по порядку.

Так вот.

Произошло все это лет десять назад, в маленьком верхневолжском городке, куда я приехал с юга, чтобы стать газетчиком районного масштаба, и — это, правда, выяснилось много позже — провести там свои лучшие годы.

Знакомых поначалу было не густо, но был один довольно близкий приятель. Мы познакомились в Москве, где вместе учились на заочном отделении Литературного института. Причина эта вполне достаточная, чтобы в маленьком городке сразу же отличить друг друга, сойтись довольно близко, а также считать самих себя талантливыми, умными и перспективными людьми... Уж это такой институт! Тамошние студенты, как говорится, все о себе очень хорошего мнения. По крайней мере, до получения дипломов.

Ему было двадцать шесть, мне двадцать четыре, а в этом как раз возрасте красивые юношеские мечты о непризнанности, о нищенской жизни и служении святому искусству, а также о посмертной славе понемногу перестают греть сердце. Они еще тешат, конечно, самолюбие, о них можно с пафосом поговорить, но рядышком уже потихоньку проскальзывает и теснит их жажда более земного и отнюдь не посмертного признания своих трудов и талантов. Слава богу, хоть аппетиты в этом возрасте еще очень скромны, особенно в провинции.

Друг мой, например, считал, что я черт-те чего уже добился — имею в кармане удостоверение корреспондента и трижды в неделю плоскопечатные машины районной типографии отстукивают мою фамилию в количестве восьми тысяч трехсот экземпляров.

Теперь, если ему об этом напомнить, он посмеется, пожалуй, но тогда именно так считал. Даже завидовал слегка. Работал он на заводе, не помню кем, кажется, техником-конструктором, с начальством своим рассорился, уволился и, поскольку в маленьком нашем городке найти работу было не так-то просто, с надеждой и нетерпением ждал, когда освободится место в редакции.

Я же тогда, как и всякий двадцатичетырехлетний человек, был обуян жаждой перемен, побед над бюрократизмом моего начальства и бездарностью коллег, а для таких целей даже один друг и единомышленник в масштабе маленькой районной редакции — подспорье большое. Мы с ним планы уже строили, как будем вместе работать, распаляя друг в друге розовые надежды и нетерпение.

В составлении этих планов шли недели и месяцы, всякие житейские резервы у моего приятеля истощались, он нервничал, а место... Место вот-вот должно было освободиться, но все не освобождалось.

Уйти из редакции должен был Александр Тихонович Чимбур.

Это был высокий мужик с крепкими, большими руками и крупным костистым лицом. Редеющие и от седины словно бы пеплом подернутые волосы он зачесывал назад, но они, чуть приподнявшись надо лбом, распадались на два косо подрезанных крыла. И когда крылья эти при ходьбе оживали, помахивали, то казалось, что какая-то птица все порывается взлететь. Быть может, от этого впечатление он всегда производил мальчишески-легкомысленное, а ведь ему было уже шестьдесят.

Вообще, мальчишеского, несолидного в нем хватало. Он очень любил, например, рассказывать о себе, о всяческих житейских приключениях. Я быстро узнал, что он местный. Когда-то, совсем еще пацаном, уехал и потом, как он говорил, его «всю жизнь дёргало да об жизнь дёрло». Где-то кого-то он раскулачивал, что-то строил ускоренным методом, еще ускореннее чему-то учился, воевал, отступал, наступал, выходил из окружения, а после войны вроде бы осел в Донбассе — редактором районной газетенки наподобие нашей.

Время было горячее, шапки давали через весь разворот огромными шрифтами, а в остальном бумагу экономили. И не так, как теперь. По-настоящему. Если, скажем, клише не занимало целую колонку, то сбоку давали текст «в оборку», то есть узенькой такой колоночкой, в которую слово и то иногда целиком не умещалось. Одним прекрасным утром, просматривая подписанную им ночью «в свет» газету, Александр Тихонович, как сам говорил, «открыл рот, да так и остался». При переносе набора или при переверстке выпала маленькая строчечка из официального сообщения, а когда читали последний оттиск, этого не заметили.

Судьба, как говорится, сделала зигзаг. Работал на Севере, в шахте. Прижился и, когда его восстановили в партии, хотел там и остаться. Но вскоре жизнь его опять дернула. Врачи нашли у него силикоз легких и под страхом смерти погнали в края потеплее и помягче. Тут-то Чимбуру и вспомнился тихий верхневолжский городок его детства.

Обо всех этих необъяснимых вывертах насмешницы-жизни он очень любил посудачить при случае, но настоя-

щим вдохновением загорался, только рассказывая о том, как работали в газетах раньше, в тридцатых годах или после войны. Какие были тогда авралы, как до трех ночи ловили по приемнику очередное сообщение ТАСС, а типографщики терпеливо ждали, не смея печатать даже внутренний разворот.

Вообще-то, свою работу любят все газетчики. Все, без исключения. Есть в ней что-то такое заводное, заразительное. Но вслух они предпочитают поругивать засасывающую их текучку, жаловаться на капризы начальства... Этого требуют неписаные правила журналистского приличия.

Александр же Тихонович в своей любви никаких приличий не соблюдал. Он мог, например, всерьез, захлебываясь, спорить, что свежая типографская краска и волглая, только что нарезанная бумага пахнут лучше любых духов. Он обожал дежурить по типографии и, забегая оттуда с только что оттиснутыми полосами, сияющими белыми пятнами будущих клише, радостно-суетливый и помолодевший совал их нам, точно подарки: «На, почитай завтрашнюю...»

Для нас полосы были, конечно, вовсе не завтрашними новостями, а вчера или даже позавчера написанными заметками. Про это Чимбур как-то забывал.

Несмотря на почтенный возраст, лучше всего он чувствовал себя во всяком гаме, суете, маете. А как умел он дозваниваться в какую-нибудь тмутаракань, прорываясь сквозь сложную, многоступенчатую телефонную сеть нашего района! Он так весело стучал по рычажку, так настойчиво дул в трубку и кричал: «Озерки! Озерки! Девушка! Да вы не вешайте трубку! Понимаете, это же для газеты надо!» — что даже мне начинало казаться, будто от того, дозвонится он или нет, зависит нечто важное. Возможно, этой верой проникались даже сердитые девушки на коммутаторах. Во всяком случае, в отличие от меня, он всегда дозванивался.

И вот этого симпатичного старика Чимбура я тогда, честно говоря, терперь не мог. Дело даже не в том, что каждое его достоинство оборачивалось массой недостатков,— с этим мы обычно миримся легко. Дело было в какой-то фальши, рисовке, мерещившейся мне в нем. К тому же, при всей своей влюбленности в газету, работал он удивительно плохо.

Был легок на подъем... Это для газетчика достоинство несомненное, но в нем и это скорее раздражало,

потому что каждая его поездка обставлялась точно какая-то смешная для шестидесятилетнего мужика ребячья игра в дальние странствия. В любую погоду он надевал высокие резиновые сапоги и всюду таскал с собой рыжий такой, негнущийся, даже не плащ, а... балахон, что ли? Причем это была не просто смешная одежда — это был символ. Символ его готовности «ради нескольких строчек в газете» терпеть бедствия и преодолевать трудности. Но какие, к черту, трудности? Дороги в нашем районе вполне приличные, и даже после самого сильного дождя можно обойтись без резиновых сапог, а без плаща-балахона так и подавно. Уж лучше переждать дождь где-нибудь под стожком или в сараюшке какой, чем таскать с собой этакое чудо-юдо.

Я тихо подозревал, что балахон нужен Чимбуру только для того, чтобы начинать свои репортажи так: «В Борцинское отделение совхоза я пришел в залубеневшем от долгого дождя плаще...» Это звучало как упрек. Вот, мол, я преодолел стихии, а они не преодолели. А может, и наоборот — как оправдание: не всякий, дескать, способен на такой подвиг!

Этот критический вариант обычного чимбуровского репортажа был еще наименьшим злом. Вообще-то Александр Тихонович критику баловал не очень. Он любил пафос. Большинство его заметок заканчивалось так: «Преодолевая все эти трудности своим упорным, самоотверженным трудом на благо Родины, редкинцы (завидовцы, кирилловцы, мокшинцы) на 10-е число заготовили свыше... тонн сена».

То, что это «свыше» все-таки меньше плана, его не смущало. «Ну и что? — говорил он.— В такое, понимаешь, лето? Это же не лето, а стихийное бедствие!»

И что бы я ни возражал, он только усмехался терпеливо, словно знал про себя нечто очень важное, все объясняющее, но такое, что по молодости лет собеседника говорить бесполезно. Во всяком случае, я так понимал эту усмешку.

Я уставал от его упрямства, от собственной злости, махал рукой, вычеркивал «самоотверженным» и «на благо Родины» и ставил свою подпись. Он обрадованно выскакивал в коридор, тут же возвращался.

— Слушай,— говорил он едва ли не возмущенно и уж во всяком случае обиженно,— а что ты на это слово взъелся: «самоотверженно»? И тут почему ты убрал? В этом же весь смысл!

— В чем?

— Да что народ, понимаешь, на благо Родины, а не только за всякие там поощрения матерьяльные, понимаешь!

— Александр Ти-хо-но-вич,— умоляюще растягивая слова, начинал объяснять я,— а в других совхозах не так, что ли? А мы с ва-ми?

— Правильно! — соглашался он.— Конечно! Все мы на благо Родины, везде...

— А раз везде, так что ж — об этом в каждой заметке талдычить надо? Так, что ли?

— Ну почему... не в каждой. А здесь, понимаешь, есть смысл. Здесь речь о трудностях идет. Понимаешь?

И чем, вы думаете, кончались такие разговоры? Ведь восстанавливал, восстанавливал-таки я эту вычеркнутую самоотверженность, и Чимбур уходил довольный, а я только обзывал себя тряпкой, да мне же в конце концов и попадало за отсыл в секретариат сырых заметок.

А его стиль? Боже, сколько мучений! Он умудрялся в один абзац втиснуть три предложения, начинающихся с «потом».

— Так нельзя же,— страдая, говорил я.

Он высоко вскидывал кустистые седоватые брови.

— Да? А почему? Ведь так и делают: это, потом это, потом это.

Ну, в общем-то ладно, не о том речь.

И вот в июне нашему Чимбуру исполнилось наконец шестьдесят лет. По поводу этого заветного рубежа состоялось в редакции торжество среднего масштаба с поднесением виновнику настольных часов и с пожеланиями счастливого отдыха.

Я ни минуточки не сомневался, что старик тут же и побежит на пенсию. Тем более что оклад у него был всего девяносто рублей, а пенсии он мог огребать сто двадцать.

Нет, я не придавал тогда такого уж большого значения деньгам, и насчет морального удовлетворения я в общем-то все знал, и даже статьи об этом писал,— и не хуже чем у людей статьи выходили, а... как бы вам объяснить это все?

Мне как раз казалось, что Чимбур никакого такого удовлетворения, никакого удовольствия от своей работы иметь не может. Вот я — я имею! Я молодой, перспективный, способный. Пишу легко, быстро, меня все хвалят.

Но если человек, мучительно пхекая и сипя больными бронхами, после десятикратных перечеркиваний вымучивает фразу: «Вследствие дождя сушение сена шло не на должном уровне», то какое, скажите, удовлетворение может получить он? Да он при первой возможности должен драпать от такой работы, бежать и не оглядываться!

Вот я и не сомневался, что он немедленно уйдет на пенсию, ну разве что два положенных месяца отработает. А тут мой приятель как раз уволился с завода, и я с легким сердцем посоветовал ему не торопиться с новой работой. Дескать, со дня на день должно освободиться место, а кому же на это место и претендовать, как не моему другу, студенту Литинститута, человеку талантливому и все такое.

И вот время шло, приятель ждал, а Чимбур наш продолжал жаловаться на боли в груди, на одышку и продолжал работать.

— Быть может, он просто забыл, что у него есть пенсия? — спросил однажды приятель.

Я только пожал плечами.

...Я тогда снимал комнатку у одной старушки, и в этой комнатке мы, сидя у окна, сумерничали, потягивая от скуки дешевое алжирское вино. К тому же в подражание только что вышедшей и нашумевшей книге Хемингуэя о Париже мы даже вино разбавляли водой, и это странным образом поднимало нас в собственном мнении. И говорить мы пытались тоже на хемингуэевский манер — все больше намеками и умолчаниями. Не считая, конечно, тех случаев, когда нечаянно срывались в бурный, бестолковый и многословный спор о высоких материях.

— А может, ему стоит слегка напомнить, а? — снова спросил приятель.

Я пожал плечами, уже в том смысле, что я, пожалуй, с ним согласен, но...

— Как же это сделаешь? — спросил я.

— Да так! Просто взять — и сказать!

— Не знаю. Что ж... Так, что ли, подойти и бухнуть: «Иди-ка ты, братец, на пенсию!» У меня, например, так не получится.

— Ах, не получится? — с насмешливой театральностью воскликнул приятель.— Ах, какие мы все деликатные! Сказать человеку в глаза: ты плохо работаешь — это, конечно, выше наших сил. Эх ты, гнилая интеллигенция!..

Вообще-то, насколько я его знал, приятель мой был человек мягкий, уступчивый, пожалуй даже трусоватый слегка. Ну, не то чтобы трусоватый, а скажем так: легко пасующий перед чужой решимостью. Но как раз такие вот, всегда тихие и мягкие, иной раз почему-то срываются и, с особенным смаком обозвав себя гнилой интеллигенцией, начинают так распаляться и надуваться своей будущей твердостью, решительностью, что вдруг отламывают штуки, до которых и жлоб-то не всякий дойдет.

Приятель мой, отругав как следует и себя и меня за подозреваемую мягкотелость, объявил, что все, баста! Он сегодня же вечером сходит к Чимбуру и все как есть ему скажет.

— Неудобно вроде,— промямлил я и тут же вспомнил, что это ведь не кто-то другой, а я сам посоветовал ему ждать чимбуровского места и вроде как бы заманивал его этим, соблазнял, что ли, и потому тоже не так уж тут чист.— Неудобно, конечно,— поправился я,— но, с другой стороны, почему бы и не сходить? Поговорить... Ну, хотя бы просто выяснить его планы, объяснить ситуацию. Так? Ведь он не может не понимать, что, что... Да и, строго говоря, все-таки чужое место человек занимает!

— Вот именно! — подхватил друг.— Пойти и объяснить, что дело обстоит так и так. Да? И спросить...

И так вот, перебивая друг друга и прихлебывая винцо, мы в десять минут порешили, что вообще ничего нет на свете естественнее, чем пойти и спросить у человека: не собирается ли он увольняться? Дескать, место его другим нужно.

На другой день я пришел в редакцию очень рано. Чимбур уже сидел за столом, не снимая своего знаменитого балахона и болотных сапог. Искоса смотрел в окно и монотонно, как заведенный, кивал, поглаживая указательным пальцем нос. Чрезвычайно сосредоточенный получался у старика вид! Даже величественный! И все это величие рассыпалось, едва только я сказал «Здрасте».

Старик сразу весь всполоснулся, обрадованно взмахнул руками, крылья его прически тоже взмахнули, балахон зашуршал, затрещал — и в этих мелких бестолковых движениях сразу же проглянула жалкая растерянность, оглушенность какая-то.

— Что это вы так рано? — спросил я.

— Знаешь, твой приятель-то, оказывается, на мое место метит, а? — он сообщил это как-то жалобно, стараясь заглянуть мне в глаза.

— Вообще-то знаю,— сказал я и сам почувствовал, что в этой деланной невозмутимости, небрежности тона слишком уж проглядывает желание спрятать внезапный стыд.— Он как-то спрашивал, не собираетесь ли вы на пенсию? — Я несколько замялся и поспешно перешел в наступление: — А что тут удивительного? Он учится.

— Да, конечно, чего же... Место для него хорошее, кто спорит? Но ведь я-то...— Чимбур запнулся и махнул рукой.— Нет! Но понимаешь, приходит он вчера и мне прямо с порога: «Вот, Александр Тихонович, у меня двое детей и плохое материальное положение, и два месяца я уже не работаю, так, может, вы уйдете на пенсию, а я займу ваше место?» А я...

— Так прямо и сказал? — усомнился я.

— То есть это дословно, понимаешь?! — подтвердил Чимбур.— И главное, прямо с порога. Я говорю: «Проходи», а он прямо от двери давай выкладывать. Мое-то самочувствие понимаешь? Тут же жена стоит...

— Конечно, конечно... Как же он так? — согласился я и почувствовал, как мучительно, от шеи, краснею.

Почему-то вдруг подумалось, что приятель непременно рассказал старику и о моих советах, и о разговоре за винцом, и что Чимбур сейчас скажет: «А ты, мол, тоже гусь! Вчера сам подбивал, а теперь, видишь ли, он удивлен и считает, что слишком...»

Но Чимбур сказал другое.

— Вот ты за него краснеешь,— сказал,— а он и не подумал покраснеть. Я говорю: «Как же вы, Миша, ведь это все равно, что прийти к больному и спросить: не собираешься ли ты, старый, помирать?» А он: «Я, говорит, вам не помирать предлагаю, а на пенсию уйти, на заслуженный отдых. Ведь от вашей работы всем один убыток. И вам в том числе». Представляешь, так и сказал: один убыток! А? Что же выходит, что я... Понимаешь? А ведь я...

Он так и не договорил, а только, махнув рукой, сел на место. Я стоял к нему вполоборота и перекладывал на столе ненужные бумаги. Был как раз тот случай, когда все, что ни придумаешь сказать,— все худо. И, может, самым лучшим было как раз то, что нечаянно и сказалось.

— Александр Тихонович, а в сторону Девичьего вы на днях не собираетесь? — вдруг спросил я.

— А что?

— Да у них все лето надои в минусе. И вообще... Посмотреть надо. Мне в Заволжское ехать, не по пути.

— А что? Съезжу! Конечно, съезжу, у меня запросто,— зачастил он.— Сейчас вот прямо...

— Да вы хоть командировку оформите. Туда обыденкой не обернуться.

— А! Плевать на командировку. Сейчас вот только жинке позвоню и поеду! Ничего... Поеду...

Вернулся Александр Тихонович только через день, когда вся эта неприятная история уже слегка подзабылась, и так как еще недели две все оставалось на своих местах, то можно было считать, что кончилась она ничем.

Я и сам так думал почти что год. Во-первых, так было удобно, а во-вторых, ведь и потом, когда старик стал увольняться, он ни разу не вспоминал о разговоре со мной или с моим приятелем. Говорил, что на пенсию его гонят врачи, и это было давно и всем известной правдой.

К тому же приятель мой так и не стал литсотрудником. Раньше наш редактор обещал обязательно его взять, а тут вдруг усомнился: потянет ли? Может, втайне решил, что мой приятель в редакции — это лишние для него неприятности? Впрочем, и друг мой ничего, не пропал. Не таким уж безвыходным оказалось его положение. Устроился инспектором районного отдела культуры, стал писать очерки в областную газету и меньше чем через год уже наезжал в наш городок в недосягаемо высоком звании собкора. В общем, пошел человек в гору, да так круто, что скоро, как говорится, стало и рукой до него не достать.

Но это было еще впереди, а пока что дождливое лето, возведенное Чимбуром в ранг стихийного бедствия, по-доброму разгулялось. Яровое убирали и озимое сеяли при палящих душных зноях, и пышные высокие шлейфы пыли тянулись за сеялками. Потом враз защекотали землю морозы; картошку копали в звонкую сухую колоть, под белыми мухами. В общем, такая пошла круговерть, что стало ни до сотрудников, уходящих на пенсию, ни до чего...

Зимой старик Чимбур стал регулярно, этак к концу дня, заглядывать в редакцию. Теперь его рыжий плащ был напялен поверх овчинного тулупа и стеганых штанов, а на ногах были высокие черные катанки, неуловимо напоминавшие болотные сапоги. На узких полозках от детских санок он тащил за собой фанерный короб с привязанной сверху пешней и коловоротом. В редакции из короба с хвастливой

неторопливостью извлекались скрюченные окуньки и подлещики, и Чимбур, подмигивая, объяснял, отчего они такие — выбросишь его на снег, хулигана этакого, он так и сяк извивается, норовит в прорубь ускакать и вдруг затихнет... В последний раз дернется, да и замрет этакой запятой — но это уже не запятая, а точка. Замерз голубчик, хана!

А потом незаметно подошла и всех втянула в свою торопливую сумятицу весна, весновспашка, посевная, опять стало ни до чего, и никто не заметил, что с приходом тепла Чимбур перестал показываться в редакции. Погоды стояли парные — с жарой и легкими дождями,— они гнали лето внахлест, не успела кончиться посевная, начался сенокос, а за сенокосом такие подоспели озимые, каких давно не видели в наших краях. Лето выдалось радостное и слегка суматошное от обилия забот.

В середине августа, не помню уж какого числа и за какими делами, вошел я в клетушку, служившую у нас кабинетом заместителя редактора. Сбоку от стола, на диванчике, сидела женщина в черной шелковой косынке.

— Здрасте,— сказал я.

Женщина мне не ответила, а наш зам, лысый и какой-то вечно обтрепанный человечек, будничным голосом сказал:

— Слушай, звякни ну-ка этому своему Быкову. Может, завтра автобусом у него разживемся?

Ни в словах, ни в тоне его не было ничего чрезвычайного, и я весело, даже как-то игриво согласился:

— Эт можно. А зачем вам целый автобус?

— Да вот, Александра Тихоновича хоронить надо,— сказал зам и, пристукнув карандашом, кивнул зачем-то на женщину.

Трубка, уже поднятая мною, с глухим стуком легла на рычаг.

— Как? — растерянно, не понимая собственного вопроса, спросил я.— Уже?

И это дурацкое «уже», бог знает почему, болезненно на всех подействовало. Даже зам как-то кисло сморщился, а рот женщины судорожно дернулся на сторону, и она, прикрыв его уголком черной косынки, поспешно пригнулась к коленкам — заплакала.

— Что делать,— услышал я как сквозь вату какую-то или стекло.— Что делать, Анна Макаровна? Все мы так: гоним жизнь, ругаем, вот, думаем, выйдешь на пенсию, заживешь наконец, а тут... Эх, да что говорить! А ты звони.

звони, ничего...— разрешил он мне.— Жалость — жалостью, а дела — делами.

Квартира Чимбура была в одном из новых домов, на первом этаже. Часов в одиннадцать, теснясь, оступаясь в слишком узких дверях, вынесли оттуда обитый кумачом гроб, установили его на табуретках, и гражданская панихида началась.

Народу было не так уж и много. Съехавшаяся родня, соседи, да наша редакция, да несколько стариков — приятелей по рыбалке. Но когда зам наш стал у изголовья гроба и, глядя куда-то поверх голов, скрипучим голосом сказал: «Товарищи!» — все вокруг затеснились, будто на плечи каждому напирала толпа.

— Сегодня мы провожаем в последний путь Александра Тихоновича Чимбура,— торжественно провозгласил он.— От нас ушел коммунист, вся жизнь которого, нелегкая порой жизнь, была посвящена делу борьбы за справедливость, за дело партии и рабочего класса...

На старческой шее зама беспокойно дергался острый кадык, увенчанный на самом кончике несколькими невыбритыми седоватыми волосками. Это я видел очень ясно, так же ясно, как слышал и отмечал про себя казенную торжественность каждой фразы. А вместе с тем мне почему-то казалось, будто я и не слышу ничего, кроме затрудненного и хриплого от горя дыхания тесно стоящих людей. И еще — будто сквознячок какой гулял между лопаток.

Сбоку от меня кто-то всхлипнул. Я быстро оглянулся, увидал толстуху, розовым скомканным платочком промокавшую глаза, и бог знает по какой логике, но вдруг подумал, что штампованность фраз меня раздражает зря, что никакая другая речь тут невозможна, не нужна и что, может быть, только это торжественное безличие слов соответствует тому самому глубокому, самому сокровенному, что знают эти люди про Чимбура и чего при жизни он так ни разу о себе и не услыхал. Да и сам не сказал.

Истончившиеся в болезни губы Чимбура застыли в неком подобии полуулыбки, и виделось, будто он, прикрыв глаза, слушал речь о себе с напускной иронией и тайным удовольствием. Крылья его беспокойной мальчишеской прически чуть шевелились, тревожимые ветром. А живые стояли вокруг него, сняв кепки и шляпы, и тот же ветер шевелил их волосы...

По новой части города гроб несли на руках.

Вышитый рушник, так старательно расправленный вначале, через несколько шагов скрутился в жгут, плечо ныло, потная рука судорожно пыталась удержать предательски скользкое полотно. Я старался на совесть, и мне было даже приятно, что гроб так тяжел, так неуклюж, а я все-таки несу и буду нести еще долго, быть может, пока не выбьюсь из сил. И в этой старательности я ловил себя на чем-то наивно-заискивающем, точно я пытался таким образом заранее загладить какие-то еще не объявленные мне грехи. Так в армии и маршируешь с особой лихостью, и вытягиваешься перед старшиной не когда-нибудь, а наутро после самоволки.

Может, я ошибался, но та же натужная старательность чудилась мне почему-то и в старике, несшем впереди нас на алой подушечке единственный орден и две медали покойного; и в той самой довольно миловидной, несмотря на свою необъятную толстоту, тетке, которая раньше все всхлипывала и промокала глаза своим розовым платочком, а теперь, шагая за мной, вела под руку Чимбуршу с таким видом, точно та без ее опеки и шагу не смогла бы пройти... Да и в других — тоже.

День меж тем незаметно осмерк, еще на кладбище потянуло прохладой, стало потихоньку крапать. А когда автобус подкатил опять к чимбуровскому подъезду, дождь лил как из ведра.

— Вот я говорю, Анна Макаровна, что значит — покойник душевным человеком был! — улыбаясь, сказал зам Чимбурше, хоть до этого никому и ничего такого не говорил.— Какие слезы небо-то льет, а?

Я болезненно поморщился, но Чимбурше фраза понравилась. Она даже улыбнулась чуть-чуть, проходя, а зам наш уже подбадривал кого-то другого.

— Ничего-ничего,— говорил он,— это дождик окатный, быстрый. Пока подзакусим, все разгуляется.

К поминальному столу все готовили и подавали племянницы, но Чимбурше, видимо, все же не сиделось на месте, она ходила вокруг, зачем-то подвигала гостям тарелки: «Кушайте, кушайте!» — и, присаживаясь то тут, то там, рассказывала. Один раз она села совсем близко от меня.

— Ну шо, Аня, как же он-то, а? — тотчас же, словно понимая, как той нужно о чем-то рассказать, спросила ее незнакомая мне старуха.— Маялся?

— Маялся, как не маяться,— вздохнула Чимбурша и стала с готовностью перечислять: — И в грудях болело, и в животе, и все пугался, бывало, по ночам — вдруг

так вот вскочит и сидит, в угол смотрит. А потом ничего... Отпустит немного, он мне и говорит: «Ничего, Аня, может, до зимы и доскриплю. А зимой полегчает».— «И то, говорю, Саша, зачем же мужику в шестьдесят лет помирать? Рано!» — «Рано, говорит, верно, да уж как есть. Меня всю жизнь, говорит, не спросясь выталкивали».

— Это он верно,— сказала старуха и погладила Чимбуршу по плечу.— Я гляжу: все так и идет на этом свете. Не успела в девках нагуляться, уже детишки пошли, вырастить не успела — ан внуки подпирают, давай, мол, бабка... Вся жизнь такая — будто кто в спину толкает. Это он, Аня, верно, это он хорошо.

Вышли мы вместе с замом. Он постоял под бетонным козырьком подъезда, повздыхал, что вот утром не догадался взять плащ.

— Так дождя-то уже нет,— сказал я.

— Все равно, мало ли... А поминки они славные отгрохали. Я вот...— он провел пальцем по горлу,— сыт, пьян и нос в табаке. Ну, счастливо!

За два часа поминок что-то во мне настолько измучилось и одрябло, что даже эти слова меня не задели. Я вяло тиснул его руку и побрел восвояси.

Дождя уже, правда, не было, по краям асфальта, у поребриков, текли мутные, сероватые, как пена при стирке, ручьи. Растрепанные тучи волоклись над головой, и все вокруг, кроме свежевымытой блестящей зелени, было печального, дикого цвета. Все мне чудился кладбищенский запах влажной лежалой глины и обвядших цветов, парок от мокрых платьев и пиджаков, сдержанно разгорающийся гул поминок, бестолковое кружение Чимбурши вокруг стола и ее монотонные, будто заученные рассказы...

И один вопрос неотступно, раздражающе крутился в мозгу: кого имел в виду старик Чимбур, когда говорил, что его вытолкнули на пенсию,— врачей или все-таки меня с приятелем? Если последнее, то как это глупо! Не говоря уже о том, что я-то тут совершенно ни при чем, что, собственно, можно поставить в виду моему приятелю? Бестактность? Всего лишь? А можно ли во всем мире найти хоть одного человека, за которым не числилось бы столь малого греха? И право же, как это глупо, как обидно, что ни оправдаться, ни что-либо объяснить уже нельзя. Некому.

Вспоминались отчего-то и те скрюченные подлещики, про которых сам Чимбур еще зимой объяснял в редакции,

как они дергаются в последний раз и замирают этакой запятой, но запятая эта на самом деле точка, потому что все, замерз голубчик!

Смерть — точка.

Тогда мне это казалось самым жестоким и страшным. Точка, не запятая... После запятой можно еще написать «но» или поставить это самое «или», тогда все, что было до нее, получит другой цвет и смысл. После точки ничего не поставишь и не попишешь.

То, что в смерти действительно самое страшное, я понял много позже. Лет десять, то чаще, то реже, вспоминалась мне и мучила меня вся эта история со стариком Чимбуром. И никак мне было ее не забыть. Ведь умершие вовсе не исчезают из нашего бытия — они продолжают незримо присутствовать и в думах наших, и в наших счетах с совестью. Да что там! Они даже меняются, и еще как! Из смешных становятся обаятельными, из наивных — мудрыми.

А вот нам, после поставленной ими точки, действительно ничего не добавить и не изменить. Мы с ними умираем такими, как были при них,— глупыми, злыми, виноватыми... И потом можем это понять, но никак не исправить. Это-то самое страшное и есть.

Давно уже растерял я из виду всех, кто упоминается в этом рассказе. Не знаю, где обретается теперь наш зам, жива ли старуха Чимбурша...

С одним только моим приятелем и однокашником по институту мы еще видаемся изредка. Он теперь большой человек! Когда мы встречаемся, он так ласково и дружелюбно треплет меня по плечу, что все, знаете, неудобно как-то спросить: вспоминается ли ему иногда верхневолжский наш городок и старик Чимбур?

НЕТ ЛИ СРЕДИ ВАС ДЕТДОМОВСКИХ?

Я ночевал на трассе, в бригаде трубоукладчиков.

Был сентябрь, темнело уже относительно рано, и в сумерках все вокруг оживало, как бы распрямляясь, стряхивая с плеч удушающую дневную жару.

Порядки, однако, царили на трассе строгие. Чуть, поужинав, начали расшевеливаться, расходиться, чуть затенькала где-то гитара, как тут же раза два предупреждающе мигнул

свет и вдруг захлебнулся последним всхлипом, чихнул и смолк монотонно стучавший движок. По мысли начальства, гореть свету после десяти часов было незачем — пора спать. А народ на трассе такой молодой, что уснуть ему в этот час невозможно; и долго еще в наступившей тишине и темени шастали меж вагончиков какие-то тени и вспыхивала ночь испуганными вскриками, хохотом или бранью. Называлось это — гулять.

Из нашего вагончика, впрочем, гулять никто не пошел. Покурили в темноте на крылечке, глядя, как желто-голубым вспухают и тают вдали фары проходящих трубовозов, да и порешили — на боковую... Легли, поворочались—не спится. Тут и пошла потихоньку травля. Треп пошел. Особенно Коля Мирутко заливал. Маленький такой, почти бессловесный днем изолировщик. Байки он выдавал тихим ровным голосом, но, во-первых, сам никогда не смеялся, а во-вторых, паузу умел выдержать, как настоящий актер.

И — «го-го-го!» И — «га-га-га!» Стенки трясутся...

В самый разгар трепа заявляется к нам еще один гость — вошел, чуть пригнувшись, весь черный на голубовато-лунном фоне раскрытой двери. Длинный, рукастый.

— Здорово,— говорит,— мужики! Весело живете...

— Не жалуемся, а тебе кого?

— Да вот сказали, у вас переночевать можно. Место свободное. Я тут на трубовозе, поломался малость... Га?

— Поломался — так дальше на тройке дуй,— предложил Колюня.

— Чего-чего?

— На собственной тройке дуй! Две ляжки в пристяжке, а сам в корню.

«Го-го-го! Га-га-га!» — взорвался вагон. Мужик растерянно покрутил шеей, а потом вдруг и сам заколыхался, зашелся смехом.

— Язвы вы! — говорит, отдышавшись.— А где ж все-таки у вас тут приткнуться? Га?

— Да вон в углу верхняя койка.

Он по-солдатски быстро, ловко скинул, сложил на тумбочке свою рубашку, штаны, душновато отдающие соляркой, запрыгнул в койку надо мной и, еще укладываясь, выдал, напирая на мягкое украинское «г», что-то такое — не помню уж что,— чему все посмеялись. Потом, однако, он как-то затих, помалкивал и только подхихикивал чуть-чуть, как бы выдавливая из себя смешок, чтоб другие не обиделись, хотя вряд ли кто-то, кроме меня, это и замечал. Хохочущие люди к другим неприметливы.

Полежал он так, полежал, потом прокашлялся и посреди общего хохота.

— Да,— говорит,— мужики, весело у вас, хорошо, а вот...— Тут вдруг примолк, и мы тоже притихли, ожидая очередную байку, а он: — А вот нет ли среди вас детдомовских? Га, мужики?

Мы как-то растерялись немного, а Колюня говорит:

— Как не быть? Вот я, например.

Со смешком говорит, игриво. Думал, анекдот про детдомовских будет...

Он выговорить не успел толком — мелькнули надо мной босые ноги, мягко шлепнули об пол,— и уже наш гость возле него, в противоположном углу. С фонариком. Откуда он и взял-то его? И прямо Колюне в лицо светит, в глаза.

Тот растерялся, а может, и струхнул малость, отпрянул к стенке, заслонился растопыренной пятерней.

— Ты что,— спрашивает,— сдурел? Убери пушку. Шизик, понимаешь...

— Где, где детдом твой был? Где? — севшим голосом, умоляюще выдохнул гость.— И год рождения, слышь?

— Мой? В Коврово. Рождения сорок седьмого. А чё? Чё ты прицепился ко мне? Милиционер, что ли?

— Извини, извини...— говорит гость. Потушил свой фонарик. По плечу Колюню похлопал.— Ничего. Это я так... Сдуру, считай.

Натыкаясь на койки, тяжело ступая, пошел обратно.

— Извините,— пробормотал,— мужики. Перебулгачил я вас. Человека одного ищу. Только он того... с тридцать девятого. Так что...

— С тридцать девятого? — тихо говорит Колюня.— Я у нас таких взрослых и не помню.

А больше — никто ничего. Молчим. Прислушиваемся, как гость долго возится, укладываясь. Ждем: не скажет ли еще чего, что, мол, за человек, зачем так до зарезу нужен?.. Нет, не говорит, только вздыхает чуть слышно, прерывисто. И все постепенно засыпают, отчего-то не нарушая больше молчания, быть может не решаясь каким-то случайным разговором облегчить или хоть потревожить внезапно придавившую сердце тягость.

Назавтра наш ночной гость вез меня в поселок. Сорок восемь километров.

Поймать на трассе попутку — пара пустых, но уж так я подзадержался, подгадал. Посмотреть на него хотелось.

Лет ему было тридцать, ну, может, с хвостиком. Руки темные, со вздутыми венами, лицо длинное, худое и тоже темное. Единственное на нем светлое пятно — усы. Пышные, пшеничные, по самым кончикам чуть опаленные табачной рыжиной. Время от времени он слегка шевелил ими, будто все пытался и никак не мог улыбнуться. Видно, переживал за вчерашнее. И оба мы долго упорно молчали, скучливо поглядывая на плоскую и однообразно бурую мангышлакскую степь, на зеркальные просверки круто просоленных такыров у горизонта.

— Вот у нас тоже степь,— сказал он наконец,— и осенью тоже голо, конечно, а все-таки глазу веселей, да...

Давно это было. Многого из его рассказа я уже и не помню. Но если так, в общих чертах, то выходило, что дело все в одной картинке. В сценке такой, вдруг являющейся ему то во сне, а то и среди дня.

Виднелась ему сначала рука. Детская, тоненькая, смутно и беспомощно белеющая в густых сумерках. В этой руке самый-то страх и был. Она такая хрупкая, что вроде вот-вот обломится, а милиционер шагает себе спокойно, крупно, подергивает ее, волоча за собой малолетнего воришку. Тот упирается, плачет. Безногий катится на своей колясочке немного впереди и сбоку от них, часто останавливается и, как юродивый на крестном ходу, кричит что-то отрывистое, непонятное, потрясая утюжком в сторону арестанта.

Они удаляются под уклон, к реке, туда, где над погруженными в туман заречными садами догорает спокойный зеленовато-желтый закат, чуть золотя над головами сухую пыль, поднятую множеством ног...

Негустая толпа медленно и шумно обтекает Кирилла. Младшего уводят, а он стоит, весь ватный от ярости и бессилия.

Такая вот картина. Нестираемая. Внезапно вспыхивающая в душе и нескончаемая, как сон наяву.

Младшего звали Валеркой. Но Кирилл почти и не вспоминает это имя. Младший так и остался в памяти — просто «младший». Его брат. Острые лопатки, рахитично оттопырившие выгоревшую, застиранную майку, которая так велика, что двумя голубыми полукружьями выглядывает внизу из-под серых трусов. Ноги у младшего в ссадинах и цыпках. Они болят, по ночам он иногда плачет, а днем часто

ставит их одна на другую и так стоит — как журавль, на одной длинной тонкой ноге с раздувшейся коленкой. Стоит, словно прислушивается к чему-то очень далекому, укоризненно наклоня голову.

Когда он застывал в этой дурацкой позе, Кирилл сжимал кулаки. Что-то горячее — жалость какая-то, обида, а вместе с тем и злость — распухало в его груди, и требовалось немедленно убежать или, может, треснуть младшего по этой согнутой шее, врезать по впалой брехушке, заросшей косицами светлых волос. И плачем его, болью унять на секунду свою муку, а потом плакать тайком, что причинил эту боль.

Теперь-то ему, взрослому человеку, совсем не хочется помнить об этих странных вспышках мстительной злобы. Но — помнится. Все помнится очень ясно, потому что никакие сны, никакие видения здесь ни при чем. Все это было. Было.

— Ну, пошли!

— Счас,— торопливо бормочет младший.— Счас.

Они стоят перед большим квадратным окном-витриной. За толстым стеклом пирамидкой составлены банки американской тушенки, гроздью висит колбаса в обитом жестью углу.

Коммерческий магазин.

Осень сорок шестого.

Кириллу почти двенадцать, младшему еще нет семи.

С собою у них пустое ведро, кусок завернутого в толь карбида, саперная лопатка. Они идут за сусликами, и спешить им некуда. До сумерек еще порядочно, а в жару суслик редко сидит в норе.

Да, они идут за сусликами.

Сначала — парком, где старые клены уже сбросили под ноги первую порцию листьев, прикрыв остатки ржавого хозяйства войны. Парк тихий, почти без птиц, буйно заросший кустарником и лебедой. Легкий ветерок беспокоит акации, сухо шуршит гроздьями бурых стручков. А в безветрие — стоит приостановиться, прислушаться — и услышишь, как тихо трескаются и закручиваются эти стручки, роняя мелкие лаковые семена.

В этом парке весной сорок четвертого целые сутки гремела война, и если пошарить в присыпанной бурой листвою траве, то и теперь всегда найдешь что-нибудь интересное, вроде солдатского котелка, наполовину вросшего в землю и оттого кажущегося черепахой, которая вот-вот выпустит

из-под панциря ноги и поползет. Конечно, котелок — что? Интересней найти гранату, чтобы глушить в речке рыбу. Но гранаты давно что-то не попадаются.

После парка — главная улица, мощенная булыжником. В конце ее — вокзал. Еще зимой младший бегал туда петь песни перед солдатскими теплушками и бывал сыт, но с весны на вокзале стало скучно — едут в основном гражданские, а им — дай бог своих прокормить. Да и Кирилл запрещает.

Не доходя до вокзала, у развалин второй школы, они сворачивают. Во дворе, среди груд битого кирпича и искореженных труб, глухо и опасливо гудит барахолка. На улице, прямо на тротуаре, в деревянной колясочке на подшипниках сидит знакомый инвалид, торгует махоркой и калеными семечками.

— Крысоловы, эй! — кричит он, тряся над головой утюжком.

— Мы не крысоловы,— обидчиво говорит младший.— Мы за сусликами идем.

— Ишь ты! Ну и сколько же вы их излавливаете?

— А тебе что? — толкая младшего под ребро, чтоб молчал, небрежно спрашивает Кирилл.

— Курячье капшто! Сопляк, понимаш! Шкурки-то выбрасываш небось?

— Ну?

— Гну! Мне неси. Я им толк дам, у меня руки золотые...

— Была пихта!

— Дак не задаром же, ты, чуда...

— А за что?

— Три шкурки — стакан семечек,— говорит инвалид и, помолчав, добавляет: — Большой.

— Принесем, ага,— радуется младший.

Но Кирилл твердо его обрывает:

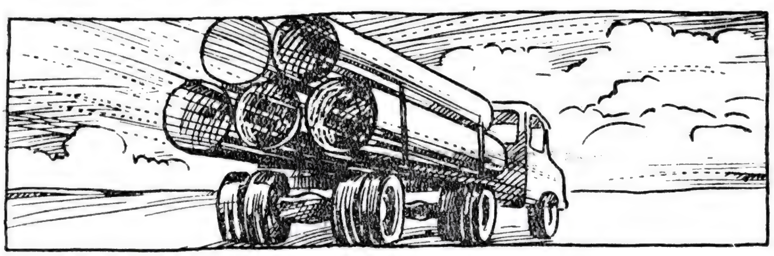
— Нет! Вот если хлеба дашь...

— Бандюга! — удивленно и уважительно тянет инвалид.— За шкурки хлеба ему... А ну, кыш отсюда!

За сусликами!

За сусликами через весь тихий, наполовину лежащий в развалинах городок...

И вот, почти в конце дороги, стоят они перед квадратным окном-витриной. Колбасы за толстым переливчатым стеклом вскипают желтыми пузырями подкожного жира. Обилие жратвы завораживает, тянет. Прямо в животе что-то сжимает и тянет. Магазин им не по пути, но никак не могут они



его обойти, не могут не остановиться. Постояв, Кирилл презрительно сплевывает липкой слюной.

— Ну давай, дунули!

— Счас,— торопливо бормочет младший,— счас...

На магазинное крыльцо, полыхнув солнцем на погонах, вышел длинный худой военный. Не сходя вниз, он нетерпеливо вынул из газеты кусок хлеба, из другой — толстую, розовожирную пластину ветчины и начал есть. Энергично заходили скулы, жадно и радостно подпрыгивал кадык.

Младший переступил с ноги на ногу.

— Дядь...— выдохнул он.

Военный повернулся, секунду смотрел на братьев, и, пока смотрел, глаза его были как у виноватой и еще не побитой собаки. Потом горло судорожно дернулось, сглотнув непрожеванную ветчину, руки принялись суетливо разрывать надвое остатки бутерброда.

— Давайте, ребятки, сейчас мы вот так...

— Вы что! Мы не нищие! — Кирилл испуганно схватил брата за руку, потащил прочь.

Мурашки бегали у него по спине от вида этого розового с прожилками мяса. И оно все не исчезало из глаз, все лежало на темном, ноздреватом, восхитительно толстом и пахучем куске хлеба. Да, он тоже смотрел. Он только не мог раскрыть рта. А младший сказал, попросил.

Слезы стыда щиплют Кириллу глаза, он сдирает их кулаком, и стыд его внезапно превращается в досаду, в злость.

Приотстав на полшага, он увидел жалкую впадинку брехушки на шее младшего и врезал ребром ладони.

— Вот тебе милостыня! — злорадно пробормотал он.— Вот...

Младший побежал вперед, захныкал и на ходу все отводил в сторону руку с ведром, а оно раскачивалось и било его по ногам.

— Ты! Заткнись! — Кирилл кинулся следом.— Убью!.. Ладно, не реви только,— сказал он, догнав брата.— Я тебе семечек завтра куплю.

Младший остановился.

— Шкурки продадим? — спросил он.

— Шкурки. Продадим шкурок побольше и купим семечек. А потом можем продать семечки и купить кусок такого мяса, ага? А вообще-то лучше всего убежать в Одессу...

Суслик — осторожный, запасливый и проворный зверек. В ту осень много было охотников до его запасов, шкурок и даже до его тошнотносладковатого мясца.

Братья чуть ли не весь сентябрь, с того самого дня, как слегла мать, исправно кормились сусликами, и только в тот, последний вечер им не повезло...

На сентябрьских, набухших сизою влагой облаках болезненной краснотой проступил закат, а у них в ведре все еще лежал одинокий щекастый зверек да килограмма два колосьев — весь его хозяйственный запас.

— Не густо,— сказал Кирилл и вздохнул.

— За одну шкурку безногий семечек не даст,— покорно согласился младший и что-то там размазал на пыльной щеке.

— Пойдем проулком,— строго приказал Кирилл, когда они снова подходили к коммерческому магазину.— А то тебя не оторвать потом. Слышишь?

Младший остановился, задумчиво почесывая друг о друга вздувшиеся шары коленок.

— Ведь стыдно! Как клянчи стоим...— сказал Кирилл.— Пойдем! — И дернул его за рукав.

Младший молчал. Он смотрел на косо срезанный крышей ближнего сарая прямоугольник освещенной витрины.

— Мне с тобой цацкаться надоело. Ну? Не маленький же.

— Я...

— Нет! Пойдем!

Кирилл подхватил ведерко и двинулся в проулок. Шагов через двадцать оглянулся. Брата уже не было. «Черт не ухватит. На том углу встретимся»,— со злостью и внезапным облегчением подумал Кирилл.

Но угол был пуст. Он долго ждал, все больше беспокоясь и все тверже решая «накостылять хорошенько».

У невидимого отсюда магазина — слышно было — заваривался подозрительный шухер. Кто-то закричал там, простуженно и пьяно, затопали тяжелые сапоги, крик повторился, приближаясь. С трудом преодолев внезапный страх, Кирилл вышел из подзаборной тени на середину перекрестка.

От магазина катилась колясочка со знакомым инвалидом Он потрясал над собой утюжком и кричал, сыпя слюной:

— До чего дошли, га? Да я ж за него, братцы, за поганца этакого, ноги отдал, а он у меня кусок хлеба тащит... Вот сволота!

— Ну, положим, не хлеб, а селедку,— успокоительно говорил милиционер.— Разберемся.

Он был совсем молоденький, безусый и, видимо, уважал, а может, и побаивался инвалида, отдавшего за «поганца» ноги. Он крепко держал за руку воришку, круто шагая за

колясочкой, может даже не чувствуя, что рука эта из последних сил дергается, выкручивается из его лапы и вот-вот обломится, точно лозинка.

— Обождите! — Бросив ведро, Кирилл ринулся им наперерез, уцепился за подол милицейской гимнастерки.

— Во! Из той же шайки. Инвалидов грабют! — крикнул безногий.

— Отойди, пацан. Ты кто? — спросил милиционер.

— Отпустите, дяденька,— подпрыгивая, кричал Кирилл.— Отпустите его. У нас мама болеет.

— Отойди, пацан, не мешай, худо будет.

— Отпустите! Ну дяденька... У нас папа на фронте погибший.

— Ваше счастье! — кричал инвалид.— Он бы вам за такое руки поотрывал!

— Дяденька, ну дяденька же...

Какая-то тетка придержала его, навалившись теплой и мягкой грудью:

— Беги лучше до мамки, пусть в отделение идет, беги.

— Уйди! — крутнулся Кирилл.

Милиционер и младший были уже впереди. Вокруг густели люди.

— А этот что — тоже украл?

— Ножом, говорят, ударил. Вишь, кровь на руке.

— Ах, господи! Мамка, кричит, больная. Может, и вправду.

— Инвалида ограбить хотели.

— Этого-то! Такого ограбишь... Сам спекулянт!

— Щенок! Он кровь проливал!

— И, матушка-заступница, маленький-то какой...

— Дяденька,— спотыкаясь, тычась с разгона в чьи-то спины, снова ринулся Кирилл.— Отдайте его! У нас мамка больная, мы сусликов ловили, она кровью кашляет, не ходит совсем, у меня ведро там, украдут же!

Младший уже не плакал, а только икал, дергая воробьиными лопатками.

— Не мешай, пацан! — сказал милиционер, отталкивая его.— Хуже будет.

Кирилл вдруг споткнулся, но успел ухватиться за столб, обнял его натруженно гудящее, гладкое тело и почувствовал, что сейчас вот, сейчас сползет, осядет в теплую пыль и растечется в ней... Толпа обтекала его, редея, затихая. Младшего уводили все дальше.

Он постоял, пока не опустела улица, постоял да и побрел просто так, не зная куда. Вдруг вспомнилось ему оставленное

ведро, повернул назад, но не дошел до угла и снова завернул к парку. Долго бродил по темным аллеям, тупо и без любопытства смотрел на целующихся, потом вышел к тому месту, где они стояли днем, рассматривая темный котелок, похожий на черепаху. Наклонился, вывернул его из земли, со злобой зашвырнул подальше в папоротники, сел на траву и заплакал.

Идти ему было некуда. И думать нечего было заявиться домой без младшего. Там мать. Жидкие полуседые космы раскиданы на красном напернике, желтоватые, отполированные голодом скулы... Она поднимется на локте, долго будет всматриваться в него, хрипло дыша, а потом спросит:

— Кирилл, где младший?

Она тоже звала его просто «младший».

Тучи постепенно затянули луну, посыпался мелкий дождик. Было уже совсем темно и сыро. Вернее, было еще темно, потому что до рассвета оставалось совсем немного. Во дворе соседнего барака, у Кривенчихи, орал петух. Кирилл протиснулся в скрипнувшую дверь и замер. «Мам»,— тихо позвал он. Она дышала хрипло, неровно и глухо постанывала. «Спит»,— решил Кирилл, прошел в угол и лег на свой матрас за печкой.

Проснулся он словно тотчас же. Ровное утреннее солнце заливало комнату.

— Мама! — бросился он к кровати. И еще громче: — Мама!..

Какое-то время после этого он прожил, точно контуженный: вроде бы и видел все, слышал, но по-настоящему ничего до него не доходило, оставаясь как бы за толстым стеклом, так что теперь, в воспоминаниях, ему трудно бывает отделить то, что было на самом деле, от того, что примерещилось.

Точно ли над могилой матери рыдала какая-то седая женщина, заламывая руки и порываясь прыгнуть вниз? И кто она? Как это узнать? И варили ли кутью с изюмом. Ничего ведь не помнится: где ели, когда? Только вкус этой самой кутьи очень ясно щекочет нёбо, а где же ему, детдомовцу, было потом ее пробовать?

Одно все-таки видится ему несомненно: вернувшаяся откуда-то тетка сидит на кровати, разматывает темно-синий с белой каймою платок и говорит, что с младшим все утряс-

лось — милиция сама его и отправит в детдом, а вот за Кириллку придется похлопотать... Он слушает это насупившись, молча, не перебивая и не переспрашивая.

— Человек уж так от веку устроен, значит, что пока самому ему худо, он о себе и думает,— говорил он мне, судорожно оглаживая баранку и усмехаясь в пшеничные усы.— Потом-то, когда жизнь лучшать стала, выучился я, отслужил, женился. Баба у меня — прямо тебе скажу: повезло мне в жизни. Две дочки. Младшую музыке учить вот отдали. В двухкомнатную весной переехали. Отдельную, с горячей водой. Да? Чем не жить-то? А мне вот не живется, да и только. Сколь я бумаги одной на всякие запросы извел, сколь... А! Вот и вчера: вы все зубоскалите весело, а я лежу, и жжет меня прямо: ну как, думаю, он здесь, а мы вот так просмеемся и разойдемся завтра до свету, ничего не узнав?..

Гремел пустой прицеп; летел по степи, сотрясая округу, многотонный красавец КрАЗ; гулял в кабине горячий ветер, сухо и горько попахивающий пустыней. Растерянно и недоуменно вглядывался я в своего попутчика. Никак не мог взять в толк: в чем же так виноватит себя человек? Зачем казнится? Да мало ли в нашем поколении растерявшейся по всему свету родни! Что ж, так всем и убиваться по этому поводу?

Нет, не соглашался я тогда с его тоской, не принимал, не понимал ее...

Теперь вот — понимаю.

РАССКАЗ О САМОМ СТРАШНОМ

В их «рафике» я оказался случайно — ехал часа три, поневоле вслушиваясь в разговоры и злясь. С самого начала они мне как-то не глянулись, вся эта компания. И всех больше — главный их, некто Ральский. Или Уральский — толком я не расслышал — из этаких «вечных мальчиков», крепко за сорок, но все еще спортивный и ультрамодный. Он всю дорогу бил клинья к своей соседке — яркой блондинке лет двадцати пяти. То есть не в том дело, конечно, что бил, а в том, как не по возрасту настырно и бездарно это у него получалось. Блондинка нос к окошку воротит, а он ей и анек-

дотик с перчинкой, и то-се, и первый хохотать принимается... Ну, сам-то он — ладно, мужик в раж вошел, но и спутники его, солидные вроде люди, а тоже — вежливенько так ему подхихикивают, реплики подбрасывают. Усиленно делают вид, будто все с ним нормально, все как быть должно.

Вообще-то они из себя какую-то комиссию представляли, где-то даже шороху навели... Но это лишь разок и мелькнуло, случайно. Самый пожилой из них, седоусый такой дядечка, сидевший ото всех чуть в сторонке, на боковом сидении, несколько минут чуть заметно ерзал, вежливо выжидая паузу в словоизвержениях Ральского.

— Гм-гм,— наконец-то дождавшись, прокашлялся он и зачем-то переставил свой пухлый портфель справа налево.— Я это... Надо бы нам это... обговорить, как писать о Гомзякове, потому что... Все-таки он...

— Да что он? Что? Прохиндей еще тот! — отмахнулась пожилая дама, молчаливо и вальяжно кутавшаяся до этого в огромную пуховую шаль.— Сдать дом, не поставив даже коробки,— это надо же? У самой муж строитель, и все я понимаю, но уж это...— и она осуждающе покачала пышной седою прической.

— Ну все-таки,— мягко сказал дядечка,— человек он, Фаиночка, молодой, честолюбивый, нелегкая дернула, вот и... А думал, небось...

— Э-э, Аркадий Николаевич! Если брать в голову, кто и что думал,— менторски перебил старика Ральский,— так нам и вовсе нельзя будет работать. Так что — бросьте!

И вот тут где-то... Не помню только, как они к этому перескочили. Гомзякова забыли сразу же, но обе дамы, видимо по какой-то с ним ассоциации, в два голоса принялись костерить мужиков. Не присутствующих, конечно, а вообще: дескать, на глазах вырождаются.

В широких дамских кругах подобный разговор давно уже стал так же обязателен, однообразен и пошл, как и о погоде когда-то. Под него бы и выспаться можно отлично, время-то к полночи, хоть и светло, да Ральскому все не сиделось — в грудь себя мужик бил, клятвенно уверяя, что не совсем еще выродился! Соглашался любому испытанию подвергнуться, тут же! Ну и, само собой, напросился.

Вот раньше, вспомнила вдруг седая Фаиночка, мужчины, развлекая дам, целые словесные турниры устраивали. Читала, мол, у одного классика: сидят и по кругу самый свой дурной поступок рассказывают — только чтоб она посмеялась. Ну уж нет! — блондинка Оля даже руками замахала: пошлостей с нее и так хватит, а вот хорошо бы, ввиду ноч-

ного-то времени, о чем-нибудь страшном послушать, ужасном.

Сорокалетний наш мальчик и тут не спасовал, понес кладбищенски-мистическую чушь, явно вычитанную, да еще и с гаденьким каким-то намеком. Каким именно — это я продремал, но намек был, ибо закончив, он тут же хихикнул и спросил, до всех ли дошло?

— Дошло. Но скучно это — убиться веником! — вздохнула блондинка.— Теперь ваша очередь, Зыбин, давайте! — потрясла она за плечо рыжеватого толстяка, сидевшего впереди.

Тот обернулся. Несоразмерно маленькие очки придавали его плоскому широкому лицу выражение детски-обиженное, даже страдальческое.

— Чего? Самое страшное? — с готовностью переспросил он, почему-то краснея.— Ну, если все... Значит, история такова: два года назад попал я в вытрезвитель. Выпили не особенно, но, знаете...

— Хватит, хватит,— замахали на него руками.— Очень интересно! Вытрезвителя нам только и не хватало. Пусть уж лучше Аркадий Николаевич расскажет.

— А что вытрезвитель? — обиделся рыжий.— Хуже кладбища?

Аркадий Николаевич пошевелил своими седенькими усами-щеточками, будто пожевал что-то:

— Я-то при чем? — спросил.— Профессия моя будничная, страшней выговора со мной ничего не случается. Впрочем, если вы настаиваете, один случай давний могу рассказать, вот только...

— Валяйте,— сердито буркнул Ральский,— утрите нам нос.

Старичок опять пошевелил усами и переставил портфель слева направо.

— Дело было давно, еще студентом. В институт, надо сказать, я поступил поздно, за тридцать, а учился очно, в Москве, от семьи далеко. В общем, оправдываться не буду — была у меня одна, как сейчас говорится, знакомая.

— О! — высоко вскидывая брови, протянул Ральский.— Я думал, вы-то хоть человек нравственный.

— Доживете, Петя, до моих лет — тоже станете нравственным. Да! Так вот знакомая эта жила не в Москве, а в одном маленьком городишке. Сейчас туда электричка бегает. Теперешним студентам во всем легче,— он чуть-чуть усмехнулся — Я же электричкой ездил примерно с полпути, а

там пересаживался на рабочий подкидыш — этакое чудо-юдо из нескольких дачных вагончиков с мотовозом.

— Так сказать, любовь без подъездных путей? Тяжеленький случай,— хохотнул Ральский.

Никто ему не отозвался.

— На этой вот станции и случилось,— сказал, помолчав, Аркадий Николаевич.— Осень была, слякотно. Я в плаще. Тогда модны были длинные такие плащи дерматиновые, ужасно клеенкой воняли. Вы-то это небось и не помните, а я в таком долго фасонил. И вот, подъезжаю я к станции этой последней, а дождь — прямо стеной стоит!..

Портфель свой Аркадий Николаевич пристроил наконец на коленях, пальцами этак по нему чуть барабанит.

— М-да... Лично мне и плащу дождь, понятно, не страшен, зато единственный пиджак и голубой галстук, выпрошенный на пару дней, могли, как говорится, утратить товарный вид. Но деваться некуда — накрылся с головой плащом и пулей — в зал ожидания. Маленький такой зальчик там был, дощатый. Прибежал — сразу давай проверять потери. Галстук в порядке, пиджак тоже, брюки, конечно, заляпались, но это пустяки. Сел на эмпээсовский диванчик фанерный, ноги протянул к печке-голландке и думаю себе бодренько: сейчас брючата обсохнут, я их обомну, обтрушу — краше новых будут. До подкидыша времени у меня прилично, сижу так, подремываю и вдруг... То есть,— опять робко, просительно улыбнулся он,— никакого «вдруг» не было, можете не настораживаться. Просто шумная компания вошла. До того зал совсем пустой был, а тут — трое парней в ватниках, в кирзачах с подвернутыми голенищами, вероятней всего рабочие-путейцы, с ними пожилой мужик. Грязный, оборванный, но, между прочим, в шляпе. И если приглядеться, так это грязное и оборванное на нем ничто иное, как синий габардиновый макинтош. А макинтош тогда, как бы вам это объяснить?.. Ну, года за два до этого в макинтошах и зеленых велюровых шляпах щеголяло начальство районное, решившееся снять полувоенные куртки, а уж за начальством потащили на себя макинтоши и другие-прочие, желавшие показать, что не лыком шиты. Престижная была штучка, вроде как Петин пиджачок нынче. Да... И пьян этот мужик был смертельно, и, судя по всему, не первый день. Парни усадили его в угол дивана, рядом деловито постелили газетку, хлеб достали, лук. К его бормотанию (а он все время что-то бубнил) они не прислушивались. Я от скуки послушал, понял мало, но в общем-то жаловался мужик на судьбу, а где на судьбу, там, естественно, и

на бабу... Есть, знаете, у нашего брата такой жалобный стереотип: я, мол, на нее хрип гну, а она же меня «щунит и мерзавит». Сначала одни эти словечки и привлекли мое внимание, даже подумал: уж не земляк ли? Стал приглядываться. Мужик росту небольшого, в теле, а рожа так и вовсе — бурдастая, толстощекая, глазки заплыли. Сидит тяжело, комовато, вот-вот рухнет, а все же сила в нем чувствуется, и немалая. Наш северный мужичок, он, знаете, может быть и толстым, и тощим, и даже больным, но такой подсадистый, что не дай бог разозлить...

Рассказывая, Аркадий Николаевич незаметно преобразился: лицо его вытянулось, сделалось скорбно-сосредоточенным, и когда он смолкал между двумя фразами, из-под кончиков усов резко пробегали печальные морщинки.

Трудно объяснить, чем так уж западал в душу его рассказ: ничего страшного в нем пока не было. Может, тут действовал подрагивающий голос, выражение лица. А может, и то, что «рафик» наш под натруженный гул мотора забирался все выше, все ближе к грязному, залежавшемуся на вершинах сопок снегу и к серым тучам, идущим с моря. За стеклами его сгущалась туманная мрачность.

Все сидели тихо, даже Ральский присмирел.

— Вот так он и сидит, значит,— грязный весь, с брюк течет, рожа оплывшая, бормочет... Захотелось мне, знаете, подойти, положить руку на плечо: «Брось, мол, дядя! Не нужно это им — ни ты, ни боль твоя душевная..«Они и вправду закусочку свою разложили и теребят его, толкают: «Давай, батя, не тяни, некогда!» Он не сразу понял, потом засуетился, достал из внутреннего кармана бутылку «Московской». «Давайте, ребятки, давайте, я уж четвертый день вот... Выпьешь — отмякнешь, а потом опять! А раньше не пил, ни-ни. За семь лет в рот грамму не взял, все в дом, все ей, а она, стерва... Нет, ты представь: я ж человек дорожный, ремонтник, зимой придешь домой весь каляный, прозяб тебя бьет, а она...» Нет, не слушают! Выпили быстренько сами, ему суют с полстакана. Он послушно проглотил, не дрогнув лицом. И зажевывать не стал. Заговорил, правда, чуток ясней. «Нет, вы,— говорит,— ребята, послушайте, как мне эта жизняка боком выходит. Ты вникни! Я теперь пьян и все такое, а все равно понимаю: она решила, что я ей не нужен, да? Дом у нее есть... А душа, ребятки? Как же душа, вот тут-то,— он потыкал себя стаканом в грудь,— тут-то как?» Те хмыкнули, дожевали свой хлеб с луком и поднимаются: «Ну, дядя, бывай!» Он... Понимаете, он как-то всем телом заволновался, задергался и отчаянно так: «Не уходите, ре-

бятки! Я сейчас еще на бутылку, а?» — зашарил по карманам торопливыми толстыми пальцами. Один из парней, рыжий такой верзила, губастый, приостановил его руку: «Ша,— говорит,— голубь! Не воркуй, сиди тихо. Мы тебя в тепло привели? И — всё! Понял? Хватит с тебя» А второй, маленький, выскочил из-за его спины и запританцовывал: «Посиди пока что в холодке, папашка...» И все трое — в гогот! Мужик смотрит на них обалдело: «Ребята,— говорит,— а то посидели бы, а? На бутылочку...» И шарит по всем карманам, оставляя на макинтоше и костюме грязные пятна. Они пошли — он руку за ними тянет, тянет, и что-то такое в лице... Потом затих, вроде уснул. Я решил уйти, встал потихоньку, но он тут же почуял и, не открывая глаз, тянется этак ко мне, шарит в воздухе: «Парень, слышь, не уходи! Возьмем бутылку... Мне теперь эти деньги куда? Некуда мне...» И тут рука его, наконец, понимаете, в карман прорвалась, вывалила на скамью комок липких десяток, пятерок, полусотню... Я подошел, собрал, затолкал обратно: «Не разбрасывайся,— говорю,— пить я не буду, я так с тобой посижу, послушаю». Ведь он этих ребят, что с ним были, тоже подкупал водкой, чтоб выслушали, разделили беду, а они его... не знаю, как сказать, но точнее всего, наверное, будет — все-таки «ограбили», хоть и не тронули денег.

Пока они были, я этого, представляете, как-то не соображал, а тут дошло, и так стыдно мне стало — до боли в сердце. Главное, время-то мое все уже вышло, с минуты на минуту покажется подкидыш, а тут... В общем, стыд, досада, и жалость, и злость на него — всё вместе! Но думаю: «Минут через пять точно заснет. Посижу». А он все бормочет и бормочет. Не берусь пересказывать это бормотание, много там было всего, но суть его истории я, кажется, уловил. Обычная семейная драма, то есть обычная для тех лет. Понимаете, вот жизнь становится лучше,— а мы ж тогда чуть только вздохнули, поднаелись, приоделись...— жизнь становится лучше, а людям хочется в ней уже не просто тепла или жратвы, а любви, радости, света... Это, конечно, очень хорошо, это замечательно! Только для кого-то и оно бедой оборачивается, ломкой судьбы. Понимаете? И этакая беда — она-то человеку куда горше, чем когда, как поется, «на всех и беда одна». А тут история была самая простая. То есть мужик этот, насколько я его понял, женился сразу после демобилизации, взял беженку. Люди сошлись... То есть не полюбили, а именно сошлись, потому что вдоволь набедовались, набездомничались. Он вкалывал, гондобил, выстроил-таки дом, так? И тут оказалось, что жена его

отогрелась, зашпоры военные у нее отошли. Так у нас говорят: «зашпоры отошли». Это когда замерзшие, онемевшие руки или ноги ототрешь, чуть отогреешь, и они лишь начинают болеть, озноб тебя такой бьет, что, кажется, прямо в печку залез бы — до того тебе холодно. Хотя, раз зашпоры отошли, значит, ты, наоборот, маленько уже согрелся, ожил, теперь у тебя поболит и пройдет, отрезать ничего не придется, все живое. Вот эти зашпоры военные и отошли у нее в доме, и просто в доме стало ей уже холодно, захотелось в печку, любви захотелось, верно? Винить в этом человека нельзя, да вся беда, что у него-то, мужика этого, ничего больше не осталось. Ни на земле, ни за душой. Если я, конечно, правильно его рассказ понял. Уж очень он бормотал невнятно, все время возвращался к какому-то несчастному утру, а я никак не мог понять, что ж именно в это утро произошло. Иногда он совсем засыпал, но чуть я, прихватив сумку, начинал осторожно подниматься, как какая-то смятенная судорога пробегала по его лицу, он вытягивал руку, шарил в воздухе: «Не уходи, парень, как же я один?..» — и снова, как заведенный, бормотал о своих бедах. Уже смеркалось, я сидел как на иголках, боясь прозевать подкидыш, который останавливался на дальних путях, за двухэтажной кирпичной диспетчерской. Тот край станции был уже едва виден сквозь дождь. Почему-то мне тогда казалось, что совершенно необходимо успеть на этот подкидыш. Хотя... Ну что случилось бы, приедь я туда часа на три-четыре позже? Любви-то там не было, никто за мной не убивался,— так просто. Но тут как раз прошел маневровый тепловоз с зажженным прожектором, и я с ужасом увидел, что зеленые вагончики уже поблескивают на дальнем пути, подхватил сумку, рванулся к двери и у самого порога словно споткнулся об это умоляющее: «Не уходи, парень! Куда же ты? Я тебе...» Споткнулся, махнул рукой и сиганул за дверь. Хоть на ходу уже, а успел-таки вскочить в последний вагон.

Аркадий Николаевич замолчал, вздохнул и прикрыл глаза. Казалось, он собирается с силами или ищет какие-то слова, чтобы рассказать самое главное, важное. Все ждали.

Так, в тишине, и подкатили к родничку, у которого летом останавливаются все машины, идущие по этой дороге в Мурманск или обратно. Вышли, разминая ноги. Тонкая струйка родника с ворчанием разбивалась о камни, чуть ниже, на закраинах крохотного озерца, позванивал лед.

— А стаканчик — тю-тю! — обведя взглядом сбрызнутые снежком темные валуны, сказал наш шофер.

— Какой стаканчик?

— Да тут. Как утром едешь — есть, а к вечеру — тю-тю! Кто-то, видать, выставляет, упорствует, а кто-то и подбирает, не брезгует гривенничком.

Он кряхтя наклонился и, опираясь руками о камни, стал ловить ртом родниковую струйку.

Тучи были совсем близко над нами, почти лежали на вершинах сопок. Вялые снежные хлопья реденько тянулись к земле в прозрачной серости воздуха. С минуты на минуту могла сорваться настоящая метель.

Едва снова уселись, тронулись, блондинистая Ольга нетерпеливо спросила:

— Аркадий Николаевич, ну же? А дальше, дальше-то?

— Что дальше, Оленька?

— Вы же рассказывали...

— А... Нет, дальше ничего не было. К сожалению. Через станцию эту я ездил еще с полгода примерно, но его ни разу больше не встретил. Ни трезвым, ни пьяным. Думаю, узнал бы — уж очень у него лицо характерное, плоское такое, лунообразное. Но не встретил. М-да.

— А страшное? Вы ж обещали! Так даже нечестно.

— Страшное? — смутился Аркадий Николаевич.— Действительно, я как-то... Почему-то вот думал, что это страшно, а рассказал... Вы уж извините, такой я, видать, рассказчик.

— Если вдуматься, то конечно,— пробормотала седовласая Фаина и вздохнула непонятно о чем,— хотя...

Прощались мы в Мурманске, у вокзала. Пожимая руки своим, Аркадий Николаевич заглядывал в глаза и спрашивал:

— Так как же с Гомзяковым будем, а?

В ответ ему бормотали что-то невразумительное. Было совсем светло, но третий час ночи сказывался, всем очень хотелось спать; Ральский, правда, все же пошел провожать блондинистую свою Олю, и она, всю дорогу его шпынявшая, не выказала никакого неудовольствия, так что поди пойми современную женщину.

Мне же оказалось по пути с тем самым Зыбиным, который пытался рассказать про вытрезвитель.

— Кстати,— спросил я,—кто этот старичок?

— Аркадий-то Николаевич? Начальник отдела нашего, а что?

— Да так.

— Мужик опытный, дошлый, только сильно добрый. При его должности это как-то и не к лицу, а?

— Как вам его рассказ?

— Ничего. Но бывает страшнее. Меня вот бабы не стали слушать, а зря.— Зыбин помолчал и вдруг взял меня под руку.— Я тут недалеко живу, хотите зайти? Кофе сварю и...

— С удовольствием, но в другой раз,— сказал я, останавливаясь.— Мне сюда, в «Полярные зори».

— В другой так в другой,— и Зыбин, уже отворачиваясь, сунул мне руку.— Будьте здоровы!

Поднимаясь по крутой своей улице с одной асфальтовой площадки на другую, я вдруг подумал, что он в сущности странный мужик: как-то слишком сутул, слишком угрюмо-молчалив для своих лет. Может, с ним и вправду случилось нечто такое, от чего погибает, не может переболеть душа? Конечно, смешно он это со своим вытрезвителем... Но — господи! — разве спрашивает беда, где человека настигнуть? А мы отмахиваемся брезгливо: с нами, мол, ничего такого и быть не может! Не хотим признавать чужую беду, не хотим слушать, в упор не желаем, как и того мужичка на станции...

Я вдруг остановился. Что-то во мне болезненно сжалось и ледяным комком скользнуло в глубину, к желудку. Вот ведь, подумалось, с этим старичком, Аркадием Николаевичем, один раз приключилось такое, единственный, и это он счел самым страшным. А со мной? Со всеми нами? Да что же это?

Бегом, почти задыхаясь от внезапно накатившего волнения, вернулся я к перекрестку, но все улицы и ближайшие дворы были пустынны, тихи. Город спал, напрасно освещаемый высоким, начинавшим уже пригревать солнцем.

ТОСЯ-ПРИШЛАЯ

Наверху прогрохотали сапожищами, крикнули, и черные, подгнившие бревна причала, с занудливой равномерностью поднимавшиеся и опадавшие в метре от моего окошка, вдруг сдвинулись, пошли назад и вбок, по стеклу густо потек туман и скрыл все, даже воду. Мы сразу запутались в его серовато-сизой вате, зависли, и было непонятно, зачем дрожит под ногами палуба и потукивает дизель... Сонно протащилась серая полоса камыша, показался рыжий откос, и снова — туман, туман.

К шести утра стало вокруг робко светлеть, приобретать молочный оттенок, но берегов все еще не было. Лишь иног-

да среди кудлатых теней, скользивших за нашим туманным мешком, можно было различить то стожок, то одинокую сосну и догадаться, что берега совсем недалеко. Слышно было, как шуршит вода, трется о скуластые борта. И — туман, туман...

Я добирался в «Заречье» впервые, и этот пустой, ощупью идущий катер, эта угрюмость спящей реки мутили душу мою раздражением и дурными предчувствиями. Впрочем, для предчувствий были и другие основания.

В то лето в нашем районе вместо двух десятков мелких и бедных колхозов решено было организовать несколько крупных совхозов, и я, без году неделя газетчик, мотался по этим свежеиспеченным хозяйствам в поисках отрадных перемен и передового опыта. В общем-то находилось и то и другое, меня похваливали, все шло нормально, пока не пришлось мне поехать в это самое «Заречье».

Совхоз этот нашим районным начальством поминался не иначе как с тяжким вздохом. Вошедшие сюда колхозы были самые что ни на есть нищие, завальные, поля болотистые, и народ там, говорили, знать ничего не желал, кроме своей клюквы. А тут еще Щелудков, главный инженер головного молокозавода, посланный по весне директорствовать в «Заречье», недели через три запил и пил до упора, пока не сняли. Бросил на радостях, очутившись снова в городе, хоть и простым механиком. Месяц искали замену, наконец, к удивлению всех, напросился туда Козлов, начальник нашей передвижной механизированной колонны, мужик молодой, холостой, бойкий...

И вот, продираясь сквозь туман, я думал обо всем том, что мне предстоит увидеть, и, разумеется, о Козлове, которого во всех случаях придется ругать, и раз от разу чувствовал к нему все большую неприязнь, что, впрочем, совсем не трудно по отношению к молодому начальству.

С утра я никого не застал в конторе и весь день самостоятельно бегал по бригадам, из деревни в деревню, тихо стервенея от виденного. Обратно в Рождественно притащился часам уже к шести. Козлов, которого по всей округе искало и костерило немало разного люду, к моему удивлению, спокойно сидел у себя в кабинете, сложив на столе большие белые руки, а на них — голову. Вскинув брови, он пристально рассматривал блестящую железку, стоявшую перед ним.

Я представился.

— Та-ак! — он уперся руками в край столешницы и, медленно распрямив их, качнулся на задних ножках стула.—

Та-ак! Редакции, видимо, фельетончик нужен? Надеюсь, материала достаточно?

— Да уж...— буркнул я.

— О чем же тогда говорить со мной, дураком этаким? А?

Начавшийся так разговор вышел, разумеется, нервным и бестолковым. Заведясь с пол-оборота, Козлов вскочил и, отшвырнув ногой стул, заорал: «Да? А вы понимаете, что это такое, когда нет людей? Нет их, нет!» — и, уже не слушая меня, не давая рта раскрыть, понес о непоеных телятах, о разгильдяях, сидящих в Сельхозтехнике, и о пальце, из-за которого стоит зерносушилка и который он якобы выточил сам, пошел на завод и сам выточил, вот он, полюбуйтесь!

О зерносушилке я уже знал. И сказал, что не директорское это дело — точить пальцы, лучше бы он... Но он не слышал, он кричал уже о другом, кричал, что вся эта земля вообще пойдет в тартарары, если не закрывать на лето завод и...

Почти все жители Рождественно, кстати, работали не в совхозе, а на стекольном заводе. Был он стар, еще дореволюционной постройки, но давал план и закрывать его, разумеется, никто не собирался.

Козлов тряс передо мной листком, где в правом верхнем углу стояло: «В ЦК КПСС от...» О закрытии завода он, видите ли, собирался писать в Москву! Мне все стало ясно, и я больше не пытался его перебить.

Он наконец выкричался и сел за стол.

Говорить, собственно, было с ним не о чем, но злость колотила меня изнутри, точно озноб, и хотелось что-нибудь такое врезать: не знаю, мол, поможет ли это нелепое прожектерство спасти его личную шкуру, да и наплевать мне на нее, когда на токах преет зерно, а в поле пропадает лен...

— Знаете что? — сказал я, вставая.

— Что? — быстро вскинул он голову.

В его светло-серых глазах мелькнуло какое-то детское ожидание. Наверное, в первую секунду он в самом деле верил, что я могу сказать нечто очень ему нужное, спасительное. Но это только мелькнуло, погасло, и осталось одно отчаяние — белое, ровное, пустое. То самое, которое, быть может, и кричало о заводе.

Он все смотрел на меня этими белыми глазами и, кажется, уже не видел, а я никак не мог начать приготовленной фразы. Мне делалось стыдно.

— Давайте отложим это все и...— выговорил я наконец.— Переночевать устроите?

— Что? — удивился он.— Переночевать? — и вдруг

обрадовался, засуетился.— Да, конечно. Только это в Окуловке, вас устроит? В том конце, у старой плотины, спросите Тосю-пришлую.

Выше заводского пруда Созь была речушкой совсем небольшой, вертлявой. Тропа в общем-то держалась берега, но то спрямляла путь, то выписывала лишние петли.

Повороты эти были так внезапны, что я подумал, а не прокладывал ли ее кто-нибудь вроде меня, такой же в себе неуверенный? В самом деле: зачем это я вдруг остался, почему?

Возле Окуловки по-над Созью росли корявые ивы: некоторые давно подгнили и завалились, полоща ветви в воде, шумевшей глухо, будто у моста. Пройдя еще чуть выше, я увидел несколько бревнышек, черных, криво торчащих из воды, точно огарыши зубов во рту столетней старухи, и понял, что тут-то и была когда-то плотина. Темная, припахивающая близким болотом вода с неспешным ворчаньем цедилась сквозь ее останки.

Избу Тоси-пришлой мне показали сразу. Это было совсем рядом. Калитка стояла распахнутой, а в щелястую дверь стоило чуть постучаться, и она сама собой со скрипом отвалилась на сторону, заманивая в душноватую темноту сеней. В избе никого не было. Я выставил на стол все, что удалось прихватить в рождественском сельпо — пряники, кусок сыру, бутылку дрянного яблочного вина — и сел ждать.

Стены были тесанные, темные. Линяло-фиолетовая ситцевая занавеска прикрывала бабий кут. Стол, самодельные стулья, плетенные из тряпочек половики. Широкая, врезанная в стенку лавка под окнами толсто застлана такими же половиками. Все как положено, чистенько, аккуратно, и все же чем-то нежилым, сиротским веяло тут, будто болотный дух запустенья залетал от реки, и никакие привычно избяные стоялые запахи не отшибали его. Только сухие травы, пучками заткнутые за матицу, подмешивали свой тонкий и тоже нежилой аромат.

За окнами было сумеречно, из-за леса наползала хмарь. Я перешел на лавку, присел, потом скинул сапоги, лег на спину и закрыл глаза.

В давно не топленной избе было прохладно, сыро, и мне снилась осень.

Снилась разгвазданная, хватающая за ноги дорога и

серый, смазанный туманом простор. Это была та глубокая голая осень, когда даль уже ничем не зовет, не манит, когда вряд ли выйдешь за околицу, если не погонит нужда. Она гнала меня, сапоги всхлипывали, выдираясь из грязи, морось холодом кропила лицо, и я шагал и шагал, а когда открыл глаза, вокруг был все тот же сумеречно-серый, непогодный свет и бормотал дождь.

Я осторожно повернул голову, увидел освещенное пламенем чело печи и темную женщину с розовыми волосами. Сидя на низенькой скамеечке, она выбирала поленья, как бы взвешивая каждое на руке, и бросала в огонь. Седые волосы ее были ровно, аккуратно подстрижены и собраны назад, под мягкую полукруглую гребенку. Я еще не видел в деревнях стриженых старушек, разве учительниц. И мне захотелось разглядеть ее получше, но она, видимо, почувствовала взгляд и легко, совсем не по-старушечьи поднялась:

— Проснулись?

— Да вот,— смущенно бормотнул я, садясь на лавке,— нечаянно заснул, вы уж извините.

— Что ж извинять-то, небось устал? Да и дождь морит. Он, гли, как занялся — со мглой, по-осеннему вовсе. Эвона, в пятьдесят пятом — или каком? Не помню уж — как об эту пору задождило, так до снега и не просохло. То бусит, то из ведра, а полного останову ему ни на день не было. Не приведи господь, какая напасть! И хлеб, как сейгод, в поле весь.

— Дела у вас нерадостные,— проговорил я, натягивая сапоги.

— У нас завсегда так,— согласилась она, задумчиво выглядывая в окно,— хребтину гнешь, а что получишь — один бог знает! — Тотчас и спохватилась, однако, отошла к печи, сказала оттуда с улыбкой: — А так-то и ниче! С совхозом-то, говорю, ничего, жить можно. Эвона, сорок два рубля отвалили мне за июль-от, да десятку за постояльцев. Не, жить можно! Не знаем, кому и свечку ставить, кто додумался? Раньше у нас, считай, с одной клюквы жили. Зимой в Москву пару коробов свезешь, продашь. Москвичи клюкву хорошо берут, за витамины... А ты к нам надолго ли?

— На одну ночь.

— Ночуй. Я хоть на лавке, хоть на кровати постелю, у меня хорошо. Подтапливаю вот, чтоб сыри не было. И картошка сейчас будет,— она кивнула на печь.— Эвона, кипеть занимается.

Сумерки за окном густели; в глубине избы, у печки, было почти темно, только розовые блики пламени скользили по

хозяйкиному платку, по летучей ее седине. Двигалась она по избе не торопясь, плавно. Каждое движение без остановки переходило в следующее, и домашние дела, похоже, не стоили ей никаких усилий. Она не думала об этой работе и не замечала ее, как здоровый человек не замечает своего дыхания и не думает о нем. В словах ее, неспешных, округлых, было что-то умиротворяющее. Они завораживали, как в летние сумерки завораживает, бывает, далекая, еле различимая песня. Так бы вот все и сидел, чувствуя лопатками трещину посреди бревна, вдыхая сухое тепло и сытный картофельный пар.

— Я тут... Не знаю, не обидитесь ли? — поднявшись все же, я переставил бутылку на середину стола, как бы предлагая ее всеобщему вниманию.— Сыр тут, пряники еще...

— А что ж обижаться? И выпей! — она неторопливо повернулась, вынула из посудной горки блеснувшую в пламени стопку.— Выпей, я и огурчика тебе принесу.

— Да что ж вы одну только? Разве не выпьете со мной за знакомство?

— Можно и выпить,— спокойно согласилась она.— До винца и коза охотница. Грешным делом и я люблю, и белое, и такое.

— Белой-то у вас нет.

— Точно, нет. Директор через сельсовет запретил до конца уборки. Наши молчат, а заводские и мимо без матюка не ходят. А ему хоть ты что!

— И помогает?

— Кому? — недоуменно приостановилась она, словно споткнулась в своем безостановочном плавном кружении. На столе были уже огурцы, зеленый лук, хлеб, картошки в чугунке. Остановившись, она с удовольствием окинула все это одним быстрым взглядом и только потом повернулась ко мне.— От чего помогать-то?

— Да чтоб не пили.

— Ой,— отмахнулась она рукой и то ли чуть хохотнула, то ли просто хмыкнула.— Ой, тошнехонько!

Выпили по стопочке отдающего яблочной гнилью винца. Она хукнула в кулачок.

— Ниче,— сказала,— сладенько! — и принялась чистить картошку, перекидывая ее из ладони в ладонь.

— Сыру берите!

— Возьму, возьму.

— А вы не местная, верно?

— Ай видать?

— Да не то чтобы... А словечки мелькают. «Тошнехонько», вот.

— А ты думал, меня зазря пришлой зовут? Так и есть. В девках я, парень, на Оби жила и взамуж тамотка выскочила. А на старости вишь где очутилась?

— Дома не понравилось?

— Господь с тобой, кому дома не запонравится? Да не путя выходит, не ссудьбилось. Жизню мою порассказать — дня не хватит,— она подперла темным кулачком голову, вздохнула.— Такая жизня выпала — где тольки не бывала, чего не видала, мамочки мои!

— Значит, из родных краев давно уехали?

— Ой давно...— махнула она рукой.— С войны! Войной сорвало,— чуть помолчала.— А по правде тебе сказать, так может и оттого, что взамуж поздно пошла. И чего тянула? Добро б, знаешь, заморышка, недомерок какой, а я баская девка была, могутная, разве глупая только. Игрища любила, хаханьки, припевки... В колхозе у нас справно жили, сытно, веселья много было. А хотелось, вишь, девке, чтоб кто ее за сердце взял, присуха чтоб, уж как хотелось! Да не фарт. И мать меня ругмя уже ругала: доневестишься, что и сваталься перестанут, в христовенькие пойдешь! Она жалючая была, мать моя, ох жалючая! И в самой страх занимался: что ж, думаю, что не люблю? Может, и люблю, да не знаю? Может, другие тоже брешут всё, как они по своим-то млеют и сохнут? Ну я и пошла за Васю Казакова. На Николу-летнего мы в сельсовете записывались как раз. А через шесть недель война, а еще через две его и забрали,— она смахнула со стола какие-то невидимые крошки, вздохнула.— Он-то меня любил очченно, провожала — при всем селе плакал. А я как бесчувственная была, все хихикала: «Скорей, мол, воюй, а то придешь, и ничего тебе не обломится — на сносях баба». Я, вишь, знала уже, что тяжелая, а только все это было как-то еще в смех да в новинку, почти как не верилось. И скажи вот, накаркала себе: в августе возили снопы, телега в ручье застряла, так запонадобилось мне, вишь, вытаскивать-подсоблять! Ну и скинула. Отлежалась, Васе написала, на работу снова вышла, ничего вроде, а потом проснулась под утро, вот так же дождик зудит... И будто душа во мне проклюнулась! Такая вдруг пустота, тоска. «Как же, думаю, жить теперя, до чего себя притулять?» По Васе своему заплакала, затосковала всякой жилкою. «Вот, думаю, дура! Не любила, покуда в руках был, у груди». Представила, как он там идет по дороге, под дождичком, грязища... «Господи,— молю,— не убивай. Верни! Хоть на

денечек! Хоть на ушко шепнуть, как теперь вот мил стал!» Ну и опять же, наревела себе, намолила — ни писем больше, ни весточки. Как отрезало! На всю зиму. А весной приходит письмо, не его рукой, но он так и пишет, что, мол, диктует, раненный в руки, в грудь, а лежит недалеко,в Омске. «Приезжай,— пишет,— одна ты у меня жизня, проститься хочу». Мне бы, дуре, сразу к нему лётом, а я кинулась свинью резать, сальцем думала его побаловать, на ноги поднять. Целых три дня задержалась! Ну, поехала, прихожу в госпиталь — на неделю, говорят, опоздала, девка, помер. Даже рубашечки никакой от ево не дали. Охо-хо! «Кто же, говорят, знал, что приедешь?» Ну, заплакала я да и пошла в военкомат, там уж за день на всю жизнь выревелась, все углы слезьми обмочила, а куды там — и слухать не хотят. Только они свое, а я свое. Назавтра приходят, а я на крыльце сидю. Сидю и сидю. И на третий день — всё там же. Ну, начальник ихний и понял: ее, мол, не сбудешь. «Отправьте ее,— говорит,— надоела». Сальце я еще допрежь евонным помощникам раздарила, так они мне все бумаги враз сделали. Я ж у них все на фронт просилась, за Васю. Такая во мне тогда злость была, если б вправду на фронт — я б им глотки зубами перекусывала, фашистам этим. Жизни в себе все равно не чуяла — одну пустоту и злость. Да они меня за мое же сало и обманули, военкоматские,— она махнула рукой и чуть улыбнулась чему-то, то ли прощая давний этот обман, то ли предвкушая уже следующую фразу, ее эффект.— Послали меня, парень, в горем.

— Куда-куда? Гарем? — недоуменно переспросил я.

— Да в железнодорожники. Каждый поезд у нас своим ремеслом занимался. Связьрем — те связь, а мы и путя и такое всякое. Одним словом — головной ремонт, горем то есть. Я в этом не очень-то смыслила, так что сперва при швальне помогала, а потом проводницей в штабной вагон взяли. От бабьей доли и фронт не увел — топить, подметать, варить, стирать — все на мне. Наши какую станцию займут — и сразу туда мы: всё на ноги становить, в ход пущать. Полковник наш, что у меня в вагоне жил, над тремя эшалонами командовал. Вечно такой смурной, крикливый, черный, что жук. Разозлится — кричит: «Бургане бурга, никакая гайка!» — и хлясть кулаком по столу. Непонятно, а пужливо. Я-то его как хотела, так и дурила. Все зенитчиков со штабного подкармливала, такая уж наша бабья душа жалючая! Три года с гагом все ездила, ездила...

— А зенитчики что — рядом стояли?

— Да не... У нас. Вот такочки наш вагон, а рядом они на

платформе, и такая у них не то пушечка, не то пулемет с двумя дульцами. Война-то у нас, у ремонтников, вся в одну сторону: нас и бомбят и по-всякому, а по них одни зенитчики стреляли, и то для шуму. За всю войну никого не подбили. Да и такие зенитчики — куда им! — все опосля госпиталя, задоенные, занюханные, худющие, в чем и душа-то есть. Не пожалеть нельзя, а конец у бабьей жали известный. Как первый раз случилось такое — сама себя убить хотела. «Ах ты, думаю, сучка. Такая твоя, значит, за Васю месть? Я ж тебя, думаю, порешу!» Да страх взял: ну как покалечусь только, и меня за самострел судить будут? Нет, думаю, пусть уж лучше так убьют! Нас тогда еще сильно бомбили. А потом это все отмякло, махнула я на себя рукой, и думка моя другая пошла: надо ж для чего-то и на свете жить — вот, думаю, затяжелею пускай, спишусь и поеду домой ребятенка ро́стить. Не так душе пусто будет. Разве ж бабе одной злостью прожить, если ее сам бог для жалю придумал, дуру этакую? И, думаю, если с ребятенком, так мать не прогонит, будем с ней, две старушки, ро́стить его. Да... А может, и то, что на всякий грех себя уговоришь, коли хочется.

Она опять замолчала, не гася своей робкой улыбки, но мне почему-то казалось, что она может вдруг расплакаться — и что я тогда буду делать? От этого я и спросить ничего не мог: каждое слово казалось опасным, взрывчатым. Заговорила она сама, так же просто и ровно, как прежде.

— Вот так. А Павел мой — тот до меня притулился уже в сорок пятом, на чужой земле. Да так, что трактором не оттянешь. Он контуженый был и раненый и заикался сильно, совсем, бывало, слова не выговорит. А вот полюбимся, он лежит рядышком и говорит хорошо так, складно. Встанет — и пошел заикаться. Расформировали нас уже под конец сорок шестого, зимой. «Ну,— говорю,— Пашенька, давай прощаться!» А он: «Цыть отседа!» — слышать не хочет. «Да ты сам, говорю, раскинь башкой: я и старше тебя на пять лет, шутка ли? И не тяжелею совсем. А ты мужик молодой. Что нашей сестры незамужней, что девок — нынче как собак нестреляных: придешь — любая твоя. Жизнь-то свою не коробь, зачем?» Говорю, а самой реветь охота. Это уж всегда так: ум правду видит, а душе на тую правду — тьфу! — ей счастьица дай тепленького, понежиться ей. А тут еще Пашка мой уперся, что бык. Так-то он нешумливый был, ласковый, но упрется на чем — танком буровит! До своего, значит. «Хошь, говорит, к тебе едем, хошь ко мне, но — вместях». А я по правде и сама-то радешенька. «Ну, говорю, раз такое дело, домой не поеду. Там я с Васей жила. И так

перед ним грешная: полюбить как след не успела, опосля верной не вытерпела, кругом вина! Нет, тудой не поеду, а к себе хочешь — вези».— «Ничего,— говорит,— меня полюбить успеешь. Я человек характеру легкого, жить мне долго». Смеется. Так вот и оказалась я в пришлых.

Она взяла из чугунка новую картофелину, обчистила ее и принялась кусать, макая в соль — крупно, но без спеху и жадности.

Дождь уже не гудел за окном, но осмеркло еще глуше и сиротливей. Осокори у соседней избы сливались ветвями с черным небом. Заслонка в печи была сдвинута, и красные отблески жара ходили по потолку.

Я разлил остатки вина по стопкам.

— Ну,— сказал,— давайте за вашу здешнюю жизнь!

— А что ж? Я и на эту жизнь, милок, не жалуюсь, давай! Всяко жилось, да настоящего горя я за Пашей не знала все ж. Чутливый он был у меня. Что на песню, что на иную душевную справу, а страсть чутливый. Тоже вот, с винцом этим. Другие мужики, сам знаешь, как пьют. А Паша, тот — нет, тот гольную выпивку не любил. Возьмет белоголовую — и домой. Я картох сварю, капустки выну, мы с ним вместях выпьем и ну петь! Все песни перепоем. На душе-то поширеет, будто светом опахнет всю. Так-то не очень было нам чему радоваться, не выпадало. Еще как приехали мы, до того мне тут не глянулось, прям сердце оборвалось: избы — одни малухи, коровы тощие. А у нас так и вовсе: мать его померла, окна выбиты, дверь сорвана. Ходили с Пашей по селу, свою же лапотину всякую собирали. Но худого не скажу: первый обзавод нам вернули. Паша работать пошел в МТС, в Рождественно, козу купили. Супряжно жить стали, в лад. Летом я всякой лесовины напасала. Зима сорок седьмого — она, сам знаешь, брюхо народишку подвела, а мы ничего, справней других вышли. Козу, конечно, пришлось за мясопоставки отдать, да ведь я и покупала ее зачем? Думала, может, какой ни есть ребятенок все ж заведется. А самим-то и без молочка ниче, прожить можно. Через год козу новую купили, избу перебрали... Так оно, может, и жили б людьми, да Пашу мово председателем поставили. Это, не соврать, как раз под пятидесятый год новый, да. Как проголосовали в клубе, он встал: «Ну,— говорит,— так: у меня чтоб от работы никто не отлынивал, ни под каким видом! А детишки сыты будут — это обещаю». Так и сказал, да. До сей поры тебе каждая баба скажет: только при Косошеине и вздохнули. Первое он что сделал? — на лето Дашу-одноглазую выделил, ребятню ей собрал, трудодни велел писать, будто сторожихе, и заладил-

лась она с имя каждый день божий в лес. И мужикам на день подводу давал — ивняк резать, а зимой бабам — всё это в город, на базар. Тутошний народ — он же спокон не столь полем жил, сколь этой лесовиной всякой, клюквой особо, да этими ж корзинами, завсегда их мужики плели. Но, правду тебе сказать, и народ тогда старался, не то как счас. Первый год все нас газета похваливала: тут подтянули, тама. А урожай подвел. В пятьдесят втором зато как с поставками мы рассчитались, семена засыпали — пришел мой Пашенька домой с белоголовой. Выпили мы, рыжиков я нажарила, а опосля до ночи на крыльце то пели, то хаханькались. Он все шутил: «Меж лопатками мне почеши — видать, крылья растут!» И то — по шестьсот граммов на трудодень оставалось, да овса еще, да картошки. Тогда это неслыханное дело было — по шестьсот граммов на трудодень! Да... Хорошо мы с ним в последний раз попели, душевно.

— Почему же... в последний? — растерянно и с робостью спросил я.

Она не заплакала и вообще никак не выразила своего горя, только вздохнула очень глубоко, продолжительно, будто нырнула куда-то за пределы собственной боли. Вздохнула, вынула гребенку, провела ею по волосам.

— Так ссудьбилось, что в последний,— сказала спокойно.— Молодой был мужик, молодше меня, а вишь... Назавтра до нас уполномоченный из району приехал, Жохов Фаддей Иванович. Походил он туда-сюда, опосля с Пашею заперся, и ну они друг на дружку орать и кулаками по столу грохать! Я было домой из правленья ушла: «Ну вас, думаю, ошалели совсем!» Я тогда учетчицей работала. А ночью уже... я и легла было... Паша приходит: «Лампу не затепляй, говорит, каганец вздуй за занавеской, чтоб на улицу не видать». Вроде тверезый, а шалый весь. Там вот и сел,— она махнула рукой в бабий кут,— сел, пишет. Я говорю: что пишешь? А он: «Поди, говорит, глянь: у Даши-одноглазой тёмно? Этот, что, спит?» Я сбегала. «Спит!» — говорю. «Ну,— говорит,— Тосенька, слушай так: завтра меня с председателей, значит, сымают. Жохов требует, чтоб мы всё сверх плану сдали, а то район не выполнит, а я против».— «Как же сверх плану? — я так и села.— Всё?» — «Всё хочет. Всякие слова говорит. А я, Тосенька, може, и дурак, и в политике не тумкаю, но уж как седни ешшо председатель, то по совести и сделаю, как обещал, а завтра ты меня сымай! Поняла? Ну, поняла, так беги буди Фросю-кладовщицу и всех по очереди, а я туточки всё расписал: кому сколько по трудодням вышло. Да накажи, без шуму мне чтоб, свету не запалять и коней не брать,

слышь?» Я перепугалась, вся в слезы: «Пашенька,— говорю,— да что ж тебе за это будет?» — «Что будет — то будет. Я, Тося, людям обещал, они жилы рвали, а поперек совести я не ходок». Ну вот, народ сразу почуял, чем пахнет, торопился дак. С мешками бегом бегали. А все ж кто-то и проверяющему стукнул, забоялся. А может, он и сам почуял — тоже дошлый был мужик, настырный. Половины даже не роздали, он заявился, да с милиционером сразу, когда только в Рождественно сгонял? Паша кричит: «Я ешшо председатель!» А Федька кобуру расстегивает: «Нет,— говорит,— ты заарестованный!» — и бумажку ему сует. Покричали друг на дружку, но делать нечего. Амбар опечатали, сторожа приставили, а Пашеньку в контору повели как арестанта, Федька даже наган вытащил, сукин сын! Ну, и меня точно кто на веревочке тянет. Паша шумит: «иди домой». А я следом, следом, села в сенях — там тихо, только разговор: шу-шу-шу. Да вдруг Паша мой как заорет — у меня аж внутри ёкнуло. «Ты,— кричит,— тыловая крыса, меня спасать? Ты — меня? Убью!» Дверь — тресь! Жохов выскакивает, руками голову прикрыл, Федька за ним, кобуру расстегивает... И Паша — следом, табуретку в руке вертит: «Убью, гады!» Оно, может, и вправду убил бы, да господь не допустил, значит, рученьки его замарать. Он замахнулся, а табуретка и выпади из руки, и сам он на порожек осел. Ну, думаю, пронесло! А смотрю — он дальше валится, на бок, лицо белое совсем, без кровиночки, и глазоньки у христовенького позакатились,— она промокнула слезу уголком платка, замолчала и снова мучительно глубоко, со сдержанным всхлипом вздохнула. Но голос не оборвался, не дрогнул...— Фершал из Рождественна прибег: уже, говорит, с час как мертвый. Он же у меня сюды вот раненый был, да. Через всю грудь шрамы, все рваное, а один осколок еще с сорок четвертого, с весны, так невынутый близ сердца и сидел. Фершал сказывал, будто он от злости и ворохнулся, зарезал Пашу.

Мы помолчали с минуту.

— А потом что же?

— Да что потом? Всяко. Всяко, милок, было. Хотела я спервоначалу уехать. Справку давали, еще и понужали: уедешь, мол, разговору меньше будет. Да вот не уехала, не осилила я. Зиму кой-как пережила, бабы подкармливали. Я ведь и травы всякие знаю, и наговоры, зубы заговариваю, кровь. Чему мама выучила, чему фронт. И ребятенка принять могу, зря что сама не рожала, и, грешным делом, ослобонить. Так бабы, спасибо им, и подкармливали навроде как знахарку. И в пятьдесят шестом опять зима тяжелющая выдалась,

злая, дак тут уж нас Кузькин выручил. Я ему рукавицы шила, а он хлебом платил, мукой.

— Кузькин? — удивленно переспросил я.— Тот самый, что ли?

— Тот-тот,— спокойно покивала она.— Жулик агромадный. И денег он с нашего горя много позаимел. Меня на суд свидетелкой вызывали, так я ему тама и говорю... Он уж обритый сидел за заборкой. «Вот, говорю, как ты, Тимофей Нилыч, спас меня, то я тебе поклонюсь, а что ты ворюга, так оно правда». Он ничего, покивал только. И бригадиркой я тоже была, раз даже в район на совещание маяков ездила, колбасы в буфете целый круг купила. А сейчас и вовсе что не жить — с совхозом-то?

— Да как же с Кузькиным? Ведь он...

Но — не договорил. В сенях послышался какой-то бряк и испуганный девчоночий голос:

— Баб Тось, ты дома?

— Дома, дома,— хозяйка плавно потянулась, для свету пошире отодвигая на печи заслонку.

— Ой, а я захожу — темно, дак я...— затараторила, появляясь на пороге, девчушка в мокром мешке, углом накинутом на голову.— Ой, здравствуйте! Баб Тось, мамка наказала бегом бегчи: Витьку живот прихватил, на крик кричит совсем.

— Да что ж с ним, ай съел чего? — накидывая на голову платок и ступая в стоявшие у порога огромные мужские сапоги, спросила моя хозяйка.

— Не сказывал. Кричмя кричит!

— Ну, побегли, что ж! Вы уж извиняйте нас, отдыхайте ложитесь,— повернулась она ко мне.

Я тоже вышел на крыльцо. Со всех сторон сонно лопотал дождь. Мокрая тьма, то сгущаясь, то редея, неровными полосами проходила перед лицом. Где-то в ней сразу же растаяли две торопливо согнутые фигурки. Красновато светились избяные окна: дальние помаргивали, точно из последних сил не желали гаснуть, а еще дальше, в рождественской стороне, небо светлело, белесо вспучиваясь, как бы приподымаясь у горизонта. Там был завод, горели стеклоплавильные печи, у проходной и возле клуба светили фонари.

Вернувшись, я долго лежал на лавке без сна, но так и не дождался хозяйки.

Проснулся я на рассвете. Вышел во двор — небо еще не совсем прояснилось, но было видно, что дождю уже не со-

браться. В стайке вздыхала корова, певуче цвиркало молоко.

Когда я вернулся в избу, на прибранном столе стояли две кринки, прикрытые ломточками хлеба.

— Доброго утречка,— нараспев сказала хозяйка.— Почивали как?

— Спасибо, спасибо...

— Вот садитесь, подкрепимся на дорожку.

Теперь, при свете, она почему-то обращалась ко мне на «вы».

— Спасибо.

— Я вас вчера совсем заговорила, отдохнуть не дала небось.

— Ну что вы, отлично выспался! Как мальчик-то, кстати?

— Да что ему иделается? Поблевал, да и прошло. Ребятня! Сколь их ни корми, а всякую дрянь в рот тянут.

Помолчали.

— Анастасия Дмитриевна, я вас, знаете, о чем хочу спросить, если можно, конечно?

— Да спросите, отчего ж нельзя.

— А почему вы не уехали тогда? Ну, когда все это с мужем случилось?

— Да уж не уехала,— она вздохнула.— Я, вишь, сперва избу хотела продать, чтоб хоть до места родного доехать. У нас-то кто купит? Дак я все в Рождественно бегала: може, заводские? И в район ездила. И вот, скажи ты, как не пойду — мне Анька Вдовина навстречу, с дочкою. А дочка ённая от Пашки моего, и до чего похожая! Ну, Пашка маленький и Пашка. И, скажи, пожалуйста, пока он был живой, дак я ж той Аньке окна бить бегала, срамила принародно, видеть рожу ённую не могла. А тут как посмотрю на Верку, так потом всю ночку реву. Даже ни на Аньку зла нет, ни на него. Ну, думаю, пожалел он ее, так ведь она ж такая, как и я, от всякой сласти бабьей отодвинутая. Сама-то ты, думаю, мало ль кого жалела? И куда, опять же, тебе ехать, чего по свету мыкать? Тут как-никак кровиночка родная — вот она, Верка. Может, на что-нито, а пригодишься. Отца нет, пусть хоть при двух мамках растет. Ну и вырешила: притулюсь тут.

— Так и остались?

— Оно, может, и не осталась бы. Я ж думать-то думала, а сама все избу продавать бегала. Думать-то что, думать легко, а как ты к им подойдешь, что скажешь? Да ту, вишь, Анька сама до меня прибегла: фершал, кричит, пьяный, а Верка помирает, синяя вся. Та и впрямь помирала: и простыла, горло в ей нарывало, душило. Я ее выходила, травками отпоила, а уж от ручек детских горяченьких куда ж бабе

деваться, к чему бегчи? Осталась. Анька — та меня не любит, да и не за что ей, а Верка и посейчас письма шлет, на каникулы приезжает. Она у нас девка баская, грамотная, в самой Москве учится. Тую зиму я ей каждый раз, как приеду клюкву продавать — так десятку-две подброшу, да... А теперь-то при совхозе — че? Теперь и больше можно. В Москве — там денежка пташкой летит.

Все это она мне досказывала уже по дороге. У развилки остановились.

— Вам туда? А мне на телятник бегчи. Прощайте, спасибо вам за беседу.

— Вам спасибо.

И опять я двинул по бригадам, где вроде бы видел все то же, что и вчера, только зерносушилка работала. День выдался жаркий, парило. Но дышалось и шагалось неожиданно легко, весело.

У Рождественно нагнал меня директор Козлов, ехавший в одноконной легкой бричке-кошевочке.

— Как ночевали? — спросил.

— Спасибо. Хозяйка у вас замечательная!

— Тося-то? Ну, еще бы! Она меня вот так выручила! — он чиркнул по шее ногтем большого пальца.— Четвертый день телят обихаживает, а вполне отказаться могла — инвалидка все ж таки. Да ей и не приказывал никто. А? Как вам это? Я говорю: наряд выпишем, заплатим, а она: «За что ж платить? Я ж оттого, как ревут жалостно...» А?

Я ни о чем не спрашивал его. Неизвестно, когда и как, но было уже решено, что фельетона не будет, как-нибудь отобьюсь. И думать мне теперь хотелось совсем, совсем о другом.

ОСТРОВ УХОДОВО

1

На этом острове я был всего один раз — неприютно-ранней весной шестьдесят какого-то года, вместе с Улановым, редактором нашей районки. Делать на острове было нам, в сущности, нечего, но на балансе редакции числилась моторная лодка, и шеф время от времени устраивал такие поездки,

дабы никто не мог сказать, что она нужна лишь для его рыбалки. А поскольку из любых, даже самых неблагоприятных для себя обстоятельств он, по собственному его выражению, любил «доить двойной жир», то в последний момент с нами оказалась еще и Галя, молоденькая практикантка из университета. Меня это не удивило, но слегка, как говорится, заело.

Все это, впрочем, к делу не относится, рассказ пойдет совсем о другом.

Выехали рано. Низко над рекою ползли густые облака, похожие на изнанку старого тулупа; налетал порывами северный ветер, гнал длинные клинья ряби. Я сидел на носу вполоборота, прикрывшись от холодных брызг плащом.

Изредка облачная овчина рвалась, и тогда было интересно следить за солнечным пятном, быстро скользившим в отдалении: вот высветило оно сосны на обрыве, осеребрило серую, косо торчащую из-за них колоколенку, чуть погрело, погладило головы трем пацанам, спускавшимся с удочками по пологому взвозу. А как молодо вспыхивает в его лучах нежная, неполная еще листва рябин, как радостно светятся березовые жерди поскотины! Минута — и его уже нет, опять тянутся мимо плоские серые берега; проплывают песчаные кручи с торчащими поверху, как козырек, сосновыми корнями; склонясь к воде, стоят вдоль лугового берега зелено-серые купы ив,— и все это однообразно сыро, холодно, простудно...

Наконец, повернув ручку, Уланов сбросил газ, и лодка, нехотя опуская нос, скользнула в длинную узкую бухточку.

— Прибыли,— объявил шеф.— Остров Уходово. Прошу любить и жаловать.

Я выскочил первый, подтянул лодку, чтоб крепче сидела на отмели и, не оглядываясь, двинулся в глубь острова.

— Ну и кавалеры пошли,— осуждающе сказал довольный Уланов.— Придется уж мне. Прошу, Галочка!

Девушка засмеялась.

Остров Уходово считался в районе едва ли не красивейшим местом, но мне показался он неприютен, даже мрачен. В широких, поросших ивняком низинах, разделявших его округлые холмы, кой-где еще не сошла вода, сапоги выдирались из грязи с сочным чмоком. На холмах, раскинув во все стороны мощные сучья, стояли редкие приземистые сосны, вершины их глухо пошумливали, будто ворчали на ненужную, неуместную резвость ветра.

— Однако, работнички! А? Никого! — возмущался сзади Уланов.

— А что им тут делать?

— Ну, мало ли...

— А дойка уже кончилась? — чуть запыхавшись, догоняя нас, спросила Галя.— Представьте, я никогда не видела...

— Здрасьте! Какая еще дойка?

Она обиженно вскинула бровки-ниточки:

— Но мы ведь...

— Да тут, Галочка, не коровы, а нетели,— любезно пояснил Уланов.

— Нетели? Это как?

Шеф обрадованно расхохотался и сказал, что нетели — это коровы-девушки.

Удивительно неприятен и неуместен показался смех под этим сырым небом, среди жалких, ерошимых ветром кустов и несчастной, жмущейся в кучу скотины. Шерсть на телках висела неровно, клоками, комками; куски навозных лепешек присохли к мосластым ляжкам. В последние полгода все складывалось против них, бедных: долгая зима то с вьюгами, то с внезапными сильными оттепелями, скудный запас кормов, снег чуть не до середины апреля, потом два или три по-настоящему теплых дня, когда все начало зеленеть, и опять — дожди, холода, дожди.

— Девушки — не девушки,— раздраженно сказал я,— а зря мы сюда и ехали. Надо найти пастуха, а он небось в Нововыселках.

— Туда так туда,— согласился Уланов.

— А это что же — силос им возят? — Галя подняла с земли и протянула мне несколько травинок.

— Это рожь,— несколько смягчаясь тем, что она все же обратилась ко мне, а не к Уланову, пояснил я.— Где-то подкашивают и возят.

— Ну, хозяева! — возмутился шеф.— Дошли-доехали! Тут же лучшее пастбище во всем районе. Ей-богу, всегда так считалось!

Так мы с ним говорили, и всё будто бы о деле, хотя попросту пикировались из-за девчонки, которая к тому же ни мне, ни ему по совести была не нужна. Странно это, не правда ли?

Снова сели в лодку и, описав большую дугу, подошли к так называемому Охотничьему домику, филиалу какого-то санатория, куда, говорили, частенько жалует областное начальство — пострелять уток, зайцев... Уланов даже приосанился и посолиднел, подводя сюда лодку.

Сторожиха полоскала белье, стоя на специальном плотике у лодочного причала.

— Пастух-то? — переспросила она, разгибаясь. Волна от лодки покачивала ее плот.— Филат, что ль? Да вона евонный дом в Нововыселках, вона! На отшибе чуток. Он мужик ничего, уважительный,— добавила она.

— Народу много у вас? — спросил ее Уланов.— Юрий Тимофеевич у себя?

— Да никого. А Юрка дома, кажись. Вчера приехал.

Помолчали. Шеф что-то обдумывал.

— Так поехали? — напомнил я.

— Да придется,— Уланов замялся,— гостье нашей скучать там три часа удовольствие маленькое, да что поделаешь? — и заглянул мне в глаза каким-то скользящим, косым взглядом.

Я не удержался, хмыкнул.

— Зачем же ей-то скучать? — сказал.— Я один съезжу. «Черт с ними,— подумал,— мне же легче».

— Ну, валяй! А мы тут... посмотрим.

Оттолкнувшись от мостков и с трудом развернув нашу широкую посудину, я оглянулся, сориентировался по кривой сосне на вершине холма и пошел себе не торопясь, на веслах.

Лодка пересекала протоку наискосок, остров сползал в сторону, открывая противоположный берег реки — ярко-зеленое, высвеченное солнцем озимое поле, рощицу и за ней серую колоколенку двориковской церкви, покосившийся ее крест. Крест этот тоже отползал, как бы погружаясь за темный ельник, совсем как зимой. Только небо тогда было другим — глубокой и яркой голубизны, да на перекрестье огненной точкой горело морозное солнце. Я видел этот крест, когда поворачивался и пытался идти против ветра спиной, задом наперед.

2

Был конец декабря, какое-то срочное газетное дело. Машиной завладели ветераны, а молодежь, то бишь я, обходилась собственными средствами передвижения, что, впрочем, было мне по душе.

Из Двориков вышел до обеда. Дорога по льду была отличная, накатанная до слепящего блеска, день солнечный. И мороз поначалу казался вполне терпимым. А под конец у меня уже и пальцы на ногах не болели, и зубы перестали стучать, а это плохой признак.

Только в Нововыселках, в чайной, в напоенном ее кислыми, сырыми запахами тепле, меня снова стало колотить, да так, что буфетчица невольно заторопилась, наливая перцов-

ки. Я выпил и, прихватив каляными, негнущимися пальцами блюдечко с солеными грибами, пошел, натыкаясь на стулья, за печь-голландку, поближе к ее черному, потрескивающему от сухого тепла боку.

Чайная в этот срединдневной час была пуста и тиха, но как раз за печкой, где я устроился, сидел старик в повытертой, серой кроличьей шапке, в обтерханном полушубке. На столе перед ним лежала очищенная луковица, большая и злая даже на вид — с синевой.

— Замерз? — спросил он, угрюмо взглянув на меня из-под сползающей на глаза шапки.— А вроде и не так чтоб холодно, а?

— От Двориков шел,— простучал я зубами.— В-ветер.

— Эт да... На ветру прозяб еще тот. Налить?

— С-спасибо, я уже.

— И то верно. Частить не надо. Самое тебе посидеть.

Он налил себе с четверть стакана и, выпив не спеша, как воду, стал жевать лук, подперев небритую щеку ладонью. Завернутые вверх, но незавязанные, уши его шапки вяло помахивали. Блаженная волна тепла катилась во мне от желудка к ногам; я закрыл глаза и отдался дреме. Когда очнулся, старик тотчас же налил калгановой и в мой стакан.

— Что вы? Зачем? — удивился я.

— Филат! — крикнула буфетчица.— Не приставай к человеку, умаялся парень.

Старик отмахнулся: «Иди ты!» — и подмигнул:

— Давай! Для почину выпьем по чину, а пойдет веселей — так без меры лей.

Я засмеялся и не стал обижать его, выпил.

— От Шестакова, значит, идешь? Он мужик головастый, вникательный. Худого не скажешь, а все ж и он как ему положено гнет, а не как надо бы.

— То есть как? — не понял я.

— А так! Положено ему держать поголовье на должном, значит, уровне — он и держит. А я коровенок ихних знаю, старья много, которое жрет только.

— А у вас?

Он не расслышал.

— Да-а,— сказал,— совхозу, положим, нету расчетов держать, а ему, выходит, есть расчет, Шестакову-то.

— Какой же? Ему по должности положено о прибыли думать.

— Должно да положено, да законы писаны, а жизнь себе, паря, криушает вольно: сюда рыскнет, туда... Ты ее вожжой потянешь, а она тебя — мордой в грязь! С норовом! — он

сбил шапку на затылок и налег грудью на стол, приблизив ко мне лицо.— Вот ты говоришь: должно! Я согласный. А тогда пускай во всем как должно, чтоб жизня вот так, как по рельсе, ходила. Бывает?

— Нет, наверное.

— В том-то и дело, что нет. Я вот на войну ушел — одного пацана оставил, а вернулся — их двое. Должно так?

— Н-нет,— невольно запинаясь и задерживая взгляд на его вдруг побуревшем злом лице, сказал я.

Теперь, кроме измятых щек и пористого носа картошечкой, был виден просторный его лоб, от половины совсем белый, без загара, с двумя запятыми крутых морщин над переносицей, и — главное — глаза: сверляще-маленькие, почти черные и так близко посаженные, что сама собой возникала мысль о нацеленной в тебя двустволке.

Мне стало неуютно, я надел шапку и приготовился смыться.

— Сиди,— сказал старик,— успеешь! Все нынче бегут, а куда бегчи? Вот так, паря! Родиться ему не положено было, а родилось. И живое. Маленькая такая, на кривых ножках по избе: туп-туп!.. Ясное дело: слабость бабья да жалость ихняя, будь она проклята! Жалостливая попадется — не женись, понял? И опять же: война, голод, а кровь своего требует. Ты погляди: после войны народ не народ был — одна изморина, а дети куда густей шли. Ну, ладно! — он неожиданно гулко, громко пришлепнул по столу громадною пятерней.— Что было, думаю, то ладно! Господь бабу из кривого ребра сшил — где ж ей прямо ходить? А сам ты, думаю, чем лучше? Тоже сердце с перцем, душа с чесноком. Синельниково взяли, так я там одну солдатку притиснул. Конечно, сама, дура, целоваться на радостях полезла, а я и попользовался. Воин-освободитель, туды твою!.. А тут одно, что не стреляли, а война та же. Но война, опять же думаю, была! А теперь мир, ты домой пришел, у тебя изба пуста, даже курицы перевелись, дети голодные, так что ты должен? А?

Старик поднял свой стакан, но не выпил, а повертел его, повертел да и поставил. И рукой на него махнул.

— Э-э, что тебе должно — это, паря, ты завсегда знаешь и другим указываешь очень даже правильно, как в газетке. А вот не могу если, не могу — хоть головой об стену! Костя Жерихов из Двориков — тот пришел, на такое ж прибавление глянул: «Так,— говорит,— мы не договаривались!» — и ходу. Больше и не видели его. А мне нищеты ихней жалко стало, пропадут, думаю, если уйтить. Так не мог, и этак — опять же не смог. Вот кручусь целый день, ходю и уговариваю

себя, уговариваю: виновата она, так повинилась, больно тебе, так и ей больно — ну и вспокойся! Уговариваю, а внутри как крутит что-то, крутит, точно червь под ложечкой. Приду домой, гляну на нее: фу-ты, думаю, мать твою, как же она с ним-то?! Как заколодило меня, понимаешь? — старик махом выплеснул в рот водку и пристукнул по столу пустым стаканом.— Всё нараскосяк! Ото дня к ночи жил: днем уговорю, вспокою себя, ну, все, думаю, простил. И то ведь — на одном прощении жизня держится вся, больше ей не на чем.

— А на любви? — осторожно спросил я.

— От любви той, паря, вся и беда,— убежденно покивал старик.— Вот, к примеру, похожу я так день, иду домой. Прощать иду! А сам слова с добром-то не выговорю — как черт подсудобит — стукнет мне в голову, как она с другим-то,— так и собьет с пахвей! И — не могу! Схвачу шапку и вон! И выпью! Или сижу в избе и молчу, и молчу. До того домолчусь, что она заплачет, а я тогда чем ни попадя в нее — хлясь! А все отчего? Сердце еще к ней кипело. Понял?

Он помолчал.

— Вот, значит, почти полную зиму Настька моя все это терпела, а весной я на день в город, а она от меня в Низино, к Андрюхе-кладовщику. Оно понятно: грех грехом и вина виной, а как каждый день виноватят, эт кто ж утерпит? Андрюха ее, значит, взял.

— Это от которого...

— Не, то пролетно́й, неизвестно куда и делся. А у этого в войну померли все: сперва баба, потом девчонка. Остался один, да беспалый, да постарше меня... Конечно, после войны ожениться плевое дело было. За него и девка б любая пошла, да он, вишь, с двумя мальцами взял. Федьке восьмой год уже был, так вот... Тогда уж и я немножко в ум вошел, смолчал. Ладно, думаю! Нагрешили-накрошили, а вот как расхлебать-то? Меня в ту пору уже председателем наставили, ну, за делами оно само и пошло и покатилося. Дела лучше водки от самого себя отводят, а я тогда на работу лют был до ужаса. Чертомелили день и ночь, а мне все мало казалось, всё мне быстрей подавай. И все у меня у первого было — маяк! Конечно, когда с умом, так и соврешь, не без этого. Тогда всё на сроки жали. Такая мода была. Бывало, снег еще не сошел толком, а уже звонят: «Сев начали?» — «Начали, говорю, а как же?» — «Скольки?» — «Полга́». За эти полга́ и в «маяках» ходил, и в прехзидиумах сиживал. А мне очень тогда нравилось в прехзидиумах сидеть, оченно я себе в них гляделся!.. В общем, хреновый мужик был, это точно!

— Почему же? — оторопело уставился я на него.— Разве это вы виноваты — время такое было.

Он выпил и, не спеша жуя свою луковицу, которая даже у меня вышибала слезу, спросил:

— Какое?

— Ну, жесткое. Разруха же. Нельзя было иначе, наверное.

— По-человечеству завсегда льзя. А то одного мужика вытащили поперед всех: ты, мол, государственный интерес блюди, на прочих и не поглядывай, они так — мелочь. А грамотешки у меня шесть классов; я, конечно, и рад, что вперед всех выскочил: «Мне, мол, интересу нет, как вы живете, у меня интерес государственный! Во!» Коршуном кружил. А какой в том государственный, скажи, интерес, чтоб Федоров на райкомах меня хвалил да с собой в прехзидиумы сажал? Государству, так думаю, начхать, кто там сидит, ему самый интерес, чтоб детишки были сыты да мужик доволен. Я, к примеру, про государственный интерес речи говорю, а у самого в уме что? А то, что вы, мол, хаханьки за моею спиной хаханькаете, как баба Филата дожидалась, да дождавшись, убегла? Ну, так я вам за то покажу, какой я средь вас самый умный, я вам кажное поперечное слово припомню. Хозяина из себя строил, а сам воевал — не хозяйствовал. Колхоз был — маяк, а колхозники жили разве заречинских чуть лучше, а то... Я им раз за разом: «Мне интересу нет, как живете!» Эх! Бабы, говорят, на след мой плевались, да жаль, вот такого, чтоб в морду плюнул, не нашлось, кишка тонка оказалась. Хоть бы поклонился ему теперь. Много от меня людям обид было. Ох, много! С кладовщиков я Андрея, положим, за дело снял, недостача была, дак ведь он у меня и опосля из лесу не выползал, кажин раз я ему там государственный интерес находил. По энтому интересу его отправлю, а сам все во вторую бригаду норовлю, в Низино, мимо избы пройтись, Настюху встренуть. Нищета у них была там гольная, ребятишки сопливые вечно, она остарела совсем, хуже чем в войну, а все ж для меня будто черт в нее ложку меду поклал. Встрену и взглядом буровлю: попросись, мол, хоть мигни, дура, не могу ж я первый! А она нос воротит. Издаля увидит и — шасть к бабе какой! Ну?

Он взял со стола остаток луковицы, понюхал, потом вытер грязным пальцем серую слезу, катившуюся в седой щетине.

— Да-а,— сказал,— пьян я, паря. Всё! Пьян. Лук слезу вышибает, да-а... А ведь скажи — за меня много тогда баб сватали. Мисютина тут одна старалась по этому делу. Вечерком забежит в правление и давай то про одну, то про другую:

дескать, по тебе сохнет совсем. Даже и девок сватала. Сижу, слушаю ее и думаю: права старая карга, надо бы. «Ладно, говорю, иди, поговорили!» А завтра встрену, о ком разговор был и... ну, не могу, с души воротит. Уж, думаю, не наговор ли какой Настюхин на мне? Партейный был, а думал — вот те крест! А всё ж одно...— он тяжело, со всхлипом вздохнул, помял руками лицо.— Одно на меня зря говорят: будто я Андрюху со свету сжил. Он сам вызвался горючку везти в тот раз, сам. Их, вот те крест, четверо у меня в правлении сидело. Я говорю: кто? Молчат. А вот так надо было, самого Федорова приказ: завезть горючку! Я опять: кто? Ну, он и встал: хрен, говорит, с тобой, поеду. Так с санями, с лошадью и утоп, бедолага, царствие ему небесное! Золотой мужик был, не мне чета. Настюха так даже умом тронулась. Или уже любила его? А? Как где завидит меня после этого, так вся дрожит и крестит украдкой, будто черта. Тощая стала, глаза выкатились. А какая она, паря, в девках была, эх! — он покачал головой, и глаза его затуманились.— Теперь и в городу таких нет.

— Она так одна с детьми и осталась? — спросил я.

— А я виноват? — он вздохнул.— Одна. Хошь — верь, хошь — нет, а все лето я думал, как с ней снова сойтись или хотя помочь. Через Мисютину денег давал — не взяла: «Боюсь, говорит, через евонные деньги беда горше выйдет». Да... И потом, как сюда возвернулся, опять до нее ходил. Пошел, на коленки стал, все как один старичок меня учил,— а все ж без толку. Теперя что — теперь Настюхи и нету уже. Да... Федька кобелюет где-то, и матери не писал, не то что мне. Одна Ольга недалеко, в Кириллове, нагулянная которая. Тоже вот: была в городу замужем, да вернулась: на роже синяк, на руках дите. Видать, жизнь как спервоначалу пойдет враскосяк...

Он махнул рукой, встал. Лопоухая его шапка оказалась рядом с лампочкой и на всю стену помахивала серыми крыльями тени.

— Все,— сказал он,— пойду! Извиняй за беседу, а к темноте на ферму мне надо, скотником я. Припозднишься — Аленкина ругается, не люблю бабьего визгу. Прощай!

И пошел, ничуть не качаясь, только излишне тяжело топая деревянной ногой.

— Забавный мужик,— сказал я буфетчице.

— Очеров-то, Филат? — удивленно посмотрела она на меня.— Пропойца он каторжный — какая еще в нем забава?

3

«Филат, значит,— в такт весельным взмахам думал я.— Филат, вот к кому еду. Как же он пастухом, с ногой-то?»

Нововыселки были пусты, тихи, одни гуси бродили по берегу огромной, почти во всю ширину улицы лужи, да из окон бывшего колхозного правления доносился девичий смех. Правление это располагалось когда-то над чайной, во втором этаже, и теперь там селили шефов — девчонок с Завидовской фабрики.

Очеровская изба стояла на отшибе, за ручьем, просторная и сама еще крепкая, хотя палисадничек перед ней, судя по всему, давно не знал хозяйских рук: черные стебли прошлогодней лебеды и крапивы тянулись до самых окон, таких грязных, что сквозь них ничего нельзя было разглядеть.

Старик сидел на порожке подпертого избочинами сарайчика, перебирал сетку, ковырялся в ней длинной деревянной иглой.

— Это ведь вы на острове пастухом, да?

— Я, ну.

— Вас Филатом Максимычем зовут, Очеровым? Я ведь с вами знаком, помните? Из районной газеты я.

— Очеров, точно,— оставляя работу, согласился старик,— а насчет знакомства, то вроде как... извините.

— Да вы и не можете помнить, что я из газеты. Мы с вами в чайной однажды разговорились. Зимой, не помните? Вы еще говорили, что жизнь всегда идет не так, как ей должно.

— Может, и говорил,— нахмурился старик. Подумав, вытащил из глубины сарая скамеечку.— Садитесь вот, что ж как перед начальством? После бутылки, конечно, чего не скажешь. Зимой я маленько тоскую, а со своими калякать не люблю — ну их! — вот и цепляюсь к кому чужому. А если чего не так было — извиняйте.

По спотыкливой этой вежливости, по тому запущенно-прихорошенному виду, какой бывает у пьяниц, решивших начать новую жизнь, или у обретших кой-какие надежды старых холостяков, я решил, что старик на этот раз непроходимо трезв, серьезен и скорее всего, кроме «да» и «нет», ничего из него не выжмешь. Однако на все вопросы Очеров отвечал очень обстоятельно, спокойно.

— Вода в речке высоко стоит — вот в чем беда вся,— объяснял он.— Самая трава — она завсегда в низинках, а на холмах что — сопля там, не трава, чох один. Конечно, ежели б тепло... Нашей русской травке много ль надо? Ведь это вот

все,— он повел рукой по двору,— за два дня повылезло. Чуть ее пригреет, она уже и тут.

— Так, может, и не стоило еще везти телок на остров?

— А куды ж их? — удивился он.— Силос дочиста подъели. Либо на остров, либо уж на мясо прям. Да еще и возьмут ли? До того достояли, бедные,— взглянуть жалко.

— А что же вас пастухом? — спросил я.— У вас ведь нога...

— Да сам напросился. Меня раньше летом на пилораму ставили, а тут, вишь, заотказывались все, скучно им на острову, а мне все едино, мне с ними калякать не о чем. Кабы не на остров еще, а на острове нога что? Дальше воды не уйдут, а я лодкой — момент, и в любое место. Вот, кручусь. В такую, говорят, весну от одной спины мужичьей тепло. Крутись, значит, гни ее. Да что! Бровцын тоже из кармана травы не вынет. А ржицы он мне подкашивать позволение дал, это точно. Сейчас вот сетку поставлю — опять займусь косить да возить. А все ж тепло — оно должно б... А?

Попрощавшись, сбегал я еще в отделение совхоза, в Борки, завернул на ферму и только часам к одиннадцати подался обратно. Очеров как раз тоже был у мостков, снаряжался в путь. У него был хорошо просмоленный широкий дубок с легкомысленным моторчиком на корме. Под банками лежала уже коса, веревки, и хозяин укладывал в «бардачок» — сухой ящик на носу лодки — какой-то узелок и тяжелую низку вяленых лещей. Я посмотрел на них с удивлением.

— Вы косить? — спросил.

— Пойду,— буркнул старик.

Потом, вернувшись с веслами, пояснил все же:

— Вот,— сказал,— отвезу кошевину своим доходячкам да и махну в Кириллово. У меня там дочка в больнице, спроведать надо. Ну, прощайте! — и, намотав на маховичок, дернул шнурок от мотора.

Движок застучал, лодка пошла в протоку; остатки прошлогоднего камыша на мелководье тихо зашелестели, зашептались, мерно кланяясь вслед.

«Дочка в Кириллове — это он что же — о той, о нагулянной? Точно, она в Кириллове, Ольга, кажется». Я долго смотрел вслед его неторопливой лодке, непонятно о чем задумавшись.

На острове я с полчаса ждал, кричал и опять ждал своего шефа, нервничал и даже стал думать, что нехорошо поступил, оставив девчонку наедине с ним. Хотя... кто она мне? К тому

же человек она взрослый и должна бы сама понимать, куда и с кем едет.

Наконец они показались на тропке. Галя шла впереди, очень спешила, Уланов с этакой успокаивающей беззаботностью помахал мне рукой из-за ее спины. По этой наигранной беззаботности я сразу понял, что ничего у него не вышло, даже близко не было, и обрадовался.

— А мы тут тебя ждали, ждали,— сказал Уланов,— да и зашли к Юрию Тимофеевичу, островному богу, технику-смотрителю Домика. Перекусили слегка. Народ тут, надо сказать, со вкусом живет, очень даже.

Девушка сразу и с подчеркнутой решительностью прошла на нос, уселась там, отвернувшись, так что Уланову и не оставалось ничего иного, как, вдруг проникнувшись интересами дела, начать расспрашивать меня обо всем с пристастием.

— Значит, здесь одни доходячки? — переспросил он, оттягивая пальцами яркую, пухлую свою нижнюю губу.— Так... А может, поедем посмотрим и остальных?

— Не стоит,— сказал я.— Очеров не начальник, ему очки нам втирать незачем.

— Очеров? — вдруг удивился Уланов.— Филат, что ли?

— Филат.

— Надо же! Пастухом? Вот это умяла жизнь человека, ого-го!

— В смысле, что он председателем был?

— Если бы просто председателем, а то каким! Он же, знаешь, гремел, Федоров в нем души не чаял. Оба старой закваски мужики были: всех в бараний рог, а чтоб дело моментом! Да... Я тогда — это еще в пятьдесят третьем или даже в пятьдесят втором было — инструктором комсомола работал. И вот прихожу как-то в Нововыселки эти, еле добрался — весна, зажоры, тает все. Сразу к Очерову: надо, Филат Максимыч, молодежь собрать, провести работу. А он сидит... Этак рожу помял пятерней, а потом — на! — и фигу мне под нос, здоровенную. «Во,— говорит,— видал? Они у меня все сено возят с острова, пока река не тронулась, так там ты и проводи работу средь них!» И что ты думаешь? Пришлось сделать вид, вроде так и надо, шутка вроде, и пошел я себе в массы, сено возить, пример показывать. А на льду лужи уже. Везешь и не знаешь: доедешь — нет? Так я у них дней на десять застрял, как раз потеплело резко, все остатки дорог рухнули. Вот уж насмотрелся я на знаменитого председателя!

— А ведь он прав был,— подозлил я,— сено, оно...

— Ишь ты! Сено? А чего ж он его раньше не вывез? Да и знаю я, каким маяком этот Очеров на деле-то был. Зазнался,

зажрался, только и делал, что водку хлестал... Как посчитали — больше полколхоза у него разворовано. Вот теперь он и есть Филатка-пастух, м-да! И чего возвращаться было после отсидки?..

И долго еще Уланов покручивал головой, все веселей улыбаясь. Видимо, та фига так крепко запомнилась моему самолюбивому шефу, что превращение грозного председателя в Филатку-пастуха очень его обрадовало.

— Ну что ж...— бодренько сказал он.— По домам, коли дело сделали?

Я не отозвался.

Странно, но меня ужасно занимало вот что: отчего же зимой, в чайной, Очеров ни словом, ни намеком не помянул тюрьмы? Если Уланов приезжал сюда после смерти Андрея-кладовщика, то как раз про тогдашний свой смертный запой Очеров и говорил. И вообще вытаскивались им на суд божий грехи не только, так сказать, удобопокаянные, нет! Вспомнил же он, например, солдатку синельниковскую, а? А тут уж такое, что тюрьма куда красивей. «Не-ет,— думалось мне,— что-то здесь не то...»

Я так глубоко задумался обо всем этом, что даже не заметил, когда сгустились и снизились тучи, разрослись почти на все небо... С каждой минутой они становились все гуще, темней, растрепанные их лохмы волоклись чуть не по верхушкам прибрежных сосен. Только на юго-западе меж осмеркшей землей и черным небом оставалась еще узкая щель пронзительной голубизны и кипящего солнца. Туда, напряженно задрав нос и подскакивая на волне, рвалась наша лодка, торопилась проскользнуть, пока не сомкнулись у горизонта темные челюсти земли и неба. И поневоле делалось страшно за тех, кто оставался у нас за плечами.

4

Месяца через полтора, в самый разгар грозового и знойного лета, шагал я из Кириллова, время от времени делая тщетные, а потому и робкие попытки остановить попутку. Тяжелые КрАЗы с ревом проносились мимо, роняя на выбоинах щебенку; их шофера сидели так высоко над землей, что вряд ли и видели меня. Постепенно я примирился с этим, решил, что пять верст до шоссе дело небольшое, а там — можно подождать автобус. А когда примирился, то, как это часто бывает, судьба и смягчилась: нагонявший меня «козлик» скрежетнул тормозами, и мой приятель Генка Зуричин закричал:

— Куда идешь, пресса? В ногу ль с народом?

— О! — обрадовался я.— Моя милиция меня бережет!

— Садись, старче, в ногах правды мало. Вперед!

— В город?

— А куда же?

— Со следствия?

— А как же?

— Интересное что? Или пока секрет?

— Да как тебе сказать? — Генка задумался.— И секрета нет, и интересного мало. Для газеты не подойдет.

— А все-таки?

— Так... Один чудак застрелился.

— В Кириллове?

— Да нет. Туда уж я последний лачок навести завернул. На острове застрелился, ночью.

— Кто? — и прежде чем Зуричин ответил, я уже знал это имя, знал все. На меня будто пахнуло холодным ночным ужасом, отчаянием.

— Кремневый был мужик, а на тебе,— помолчав, заговорил Зуричин.— Я ж сам низинский, с его Федькой до седьмого класса вместе дурака валяли. Федьку-то ты небось не знаешь?

— Нет.

— Вор в законе. Вместе росли, а вышли эвоно как,— Зуричин причмокнул.— Вот интересно: все тогда бедно жили, чего-чего только не ели... И сказать честно, так все мы тогда приворовывали, все пацаны. Обрат с фермы, горошек, морковку, колоски там. Только мы-то все не задумываясь, чтоб брюхо набить, а Федька со злостью. И вот большущая с этого разница вышла! Как-то поймали нас в морковном поле, привели к Очерову: «Что ж вы, говорит, сукины дети?..» А Федька губу скривил: «Мы не сукины, а кобельи!» Тот аж сел. Посидел, поглядел на него. «Так,— говорит,— идите пока, потом разберемся».

— А не знаешь, за что его судили?

— Федьку?

— Отца.

— Не, точно не помню. Я ж тогда фактически пацан был, хотя и думал, что взрослый. А Филат... Месяца за два, как его посадили, я к нему за справкой как раз приходил. В техникум хотел, в Калязин. Он сидит за столом: и так-то мужик быковатый, а напьется... Разлепил он один глаз с трудом, смотрел, смотрел на меня: «Нет,— говорит,— не дам. Эдак все разбегутся, останется одна неработь, вроде твоего батьки». А батька мой — он что? Нас четверо было, всякий кусать-

жевать требовал, так он и наладился плести — корзины, кошелки, всякую чепуху. Инвалид войны, а до самой смерти чертомелил так — аж кости трещали. Но то не про колхоз сказано. Там он минимум выработает и — отвалите! Сердит был с колхозом. Вот Очеров нас и доезжал по всем правилам. Справка — эт еще что! Он и огород нам урезал, и стожки батькины вечно колхозу оприходует... Не у нас у одних, конечно, а всё ж чьи, если где на неудоби заметит, иной раз и отвернется, а Зуричина — хоть в лесу, хоть на болоте, хоть там полкопешки всего — отобрать немедля! Вот так. Я это все тебе к чему загибаю? Что мне его любить не из чего, Очерова-то, а все ж я не верю, что он, как говорили тогда, проворовался, пропил. Недостача — это, может, и было, и большая, поскольку счетовод у нас большой хитрован был.

— Вот, знаешь, и я почему-то не верю.

— А может, и зря не верим! — сказал вдруг Зуричин.— Дошкин-прокурор тоже честный мужик был. Старого закалу, еще Деникина бил. А ты Филата скотником застал?

— Конечно.

— Ну, это совсем не тот человек! После тюрьмы он чудесить пошел, даже к собственной жене опять сватался, прощения просил. А ведь она у него... Он знаешь за что ее выгнал?

— Слышал.

— У нас думали, он ее со свету сживает. Особенно как дядя Андрей утонул. Где ни встретит — так глядит, что сейчас, мол, горло перекушу! И вдруг — на тебе! — на коленки стал. Артист! Федька как раз дома был, тоже давай в театр играть: берет его под ручку, ведет к столу: «Давай, говорит, батя, посидим с тобой по-родственному, как ворюга с ворюгой». А тот: «Я, говорит, не вор и тебя не учил этому, хотя ругаешь правильно. Виноват, гордость свою тешил, из тебя человека не сделал — вот ты и вырос скотом». Федька озверел, его из избы вышиб — была потеха! У нас долго рассказывали. А как Федька опять сел, старик, веришь ли, посылки ему в тюрьму слал. Своеголовый был мужик.

— В Кириллово ты не к Ольге ли ездил?

— К ней,— Зуричин поморщился.

— Старик говорил, она в больнице?

— С неделю как вышла. У дочки ее какая-то болезнь сложная, так старик опять же чудесил: приезжал, врачей, нянечек задаривал, под Ольгиным окном стоял. Антонова, главврач, и скажи ему: внучку, мол, хорошо б в Евпаторию свозить, погреть на песочке. Старик мотор от лодки продал, сетки, еще что-то... Чанов говорит, и ружье у него торговал, да не сошлись в десятке. Ну, и как только Ольгу выписали,

он к ней: вот, говорит. А та выгнала, осрамила на людях. «Ты, говорит, нам всем жизни испоганил: и мне, и Федьке, и матери, ты дядю Андрея в гроб загнал. Я по паспорту его дочь, Нюхина, не твоя. А теперь за три сотни хочешь обратно у черта совесть свою выкупить, чистеньким стать? Не будет этого!» Вот на другой день, ночью... А с другой стороны — похоже, что это у него и давно обдумано было, место выбрано: высокое, мох чистый, сосны. Повесил он фонарь, переоделся в чистое, сел, в оба ствола картечь и — бабах в рот! По фонарю его нашли, из Охотничьего домика заметили.

— И Ольга знает уже?

— Все знают. Но мне что удивительно: не его ж дочка ни по крови, ни по паспорту, а что-то есть. Ей-богу, есть! Я приехал сейчас — хоть бы у нее глаза там красные, хоть бы голос дрогнул. «Правильно,— говорит,— сделал. Давно ему пора». А? Напомнила мне покойничка.

— А ведь мощи ходячие,— сказал шофер,— не поймешь, где столько и злости-то умещается.

— Ну ладно она. А другие? Ведь пока он, Очеров, лютовал надо всеми, его еще и уважали. Сам помню: хозяин, говорили, крепкий. Даже батя мой уважал. А стал человек человеком — пошли смеяться.

— Детства своего ему не простила.

— Это б еще что! Ольгу — ту хоть понять можно. Но мужики-то? «Высоко о себе понимал, говорят, пил в одиночку...» Эх, люди!..— Зуричин, стукнув себя по коленке, замолк и долго глядел в окно.

Я тоже молчал, представляя, как старик в темноте плывет к острову, вода кругом черная, он обстоятельно выгружается, отталкивает лодку — почему-то я решил, что лодку он оттолкнул непременно,— идет. Мох пружинит под ногой. Сосны глухо шумят и то ли тянут друг к другу свои мохнатые лапы, то ли отталкиваются. Он с фонарем... Да, умереть хотелось человеку обстоятельно, обдуманно — так, как не удалось прожить.

— Послушай,— толкнул меня Зуричин.— Старик еще писульку оставил. Как раз я проконсультироваться насчет одного словечка хотел. Вот,— он вытащил из планшетки оторванный от газеты угол. По белому полю стояли крупные изломанные буквы со странным наклоном влево: «Изблевала меня земля. Оч.»

— Изблевала, что ли? — говорю я.— Отторгла, значит, выкинула с отвращением. От слова «блевать», понял? В Библии, кажется, есть что-то такое: «Изблюю тебя...» Не помню точно.

— Надо же! Я не знал, чтоб он с попами дружбу водил. Впрочем, шут его разберет!

Генка, странно ухмыляясь, неторопливо разгладил и спрятал клочок газеты в свою планшетку.

Много раз случалось мне потом проезжать мимо острова Уходово. Зазывали меня туда рыбачить, охотиться... Но так я и не решился больше ступить на его отделенные друг от друга болотцами одинокие холмы с одинокими соснами.

БОЛЬШАЯ ОСЕННЯЯ ТИШИНА

С началом сентября поселок наш замирает. По ту сторону станции, где личные дачи, магазин и почта, еще копошится какая ни есть жизнь, но мы туда почти не ходим. На нашей же стороне — детские сады, лагеря: все тихо, пусто... В огромном «Салюте», на тридцати гектарах, мы остаемся вдвоем с дедом Яшей. Он сторожем, а я — просто так.

Живем дружно, я помаленьку помогаю ему в разных неспешных трудах. Сколачиваем дощатые халабуды над гипсовыми пионерами, стаскиваем под навес скамейки, прячем щиты со стендов в пустующую столовую. Часик в день, вместо зарядки... Примерно после двадцатого и эта работа иссякает, да и не только у нас, видимо; смолкают последние молотки, пилы — наступает большая осенняя тишина.

Дни об эту пору стоят серенькие, по ночам иногда шуршит дождь, по утрам, лениво потягиваясь, уползают в распадки медлительные туманы — отлеживаются где-нибудь в болотах, пережидают, чтоб в сумерки снова вспухнуть и растечься по полям, как закипающее молоко. Солнца нет. Разве что ближе к полдню обозначит оно себя на минуту-другую смутным пятном оловянного блеска. Но, несмотря на ватное небо и хвосты туманов в кустах, видно так далеко, как редко бывает и летом. Да что туман! Сквозь беззвучную морось горизонт в эти дни так же заманчиво, засасывающе далек.

К концу сентября березы уже сплошь вызолочены, начинает желтеть липа, рябинки стоят вдоль забора — пылая одни и медленно ржавея, сворачивая и роняя в траву листья, другие. Дрозды ежедневно прилетают сюда кормиться, но пока без особого ору, спешки и суеты.

Стол мой стоит у окна, и, незаметно для самого себя

ускользнув от работы, я часами могу следить за несуетливой их трапезой, за парой сорок в щегольских белых жилетках, которые тоже всё крутятся вблизи моего домика, и я то вижу их, то слышу заполошные трескучие крики... Потом они улетают или просто смолкают, тишина густеет, день не догорает, а опускается, приникает к земле, на мягкую простынку тумана.

Очнувшись, я вижу, что так ничего и не сделал, а дня как не бывало. Это, конечно, стыдно. Но вместо работы я опять-таки долго и со вкусом пью чай, потом долго читаю в мягкой постели, слушая сквозь ночь писклявые вскрики электричек и глуховато-раскатистый постук товарняков. «Все,— говорю я себе строго.— Ты славно отдохнул, успокоился, но все уже — пора за работу...»

Ночи в конце сентября долгие. Спишь вволю, сладко, а встаешь затемно. Умывшись и включив чайник, сразу же принимаюсь перебирать, раскладывать бумаги. Занятие пустое, но так легко уговорить себя, будто это — необходимая подготовка к каким-то важным трудам.

Стоит засвистеть чайнику — появляется дед. У него особая манера гостеванья: переступив порог, сесть на ближайшую табуретку и молчать. Если молчишь и ты, он посидит и уйдет. Так и надо бы, но у меня не хватает духу играть до конца в эту молчанку.

— Что, по грибы? — спрашиваю, кивая на корзинку. И сразу — как камень с души.

Он не спеша стягивает картуз, медленно улыбается, вытирая серым платком плоскую лысину:

— Ну?

— Ох, пропадай моя телега!.. Идем!

— Ну?

Но сначала мы пьем чай. Сезон кончился, народ схлынул, никуда наши грибы не денутся. Дед любит чай с пылу, с жару — держит стакан на блюдце у самых губ и втягивает в себя кипяток со странным звуком — всшир!.. всширр!.. Так это занятие у него и называется: чайку поширкать.

Лагерь наш он сторожит уже четвертый год — с тех пор, как остался один, без старухи. Есть дети, но где их там мотает по жизни, старик знает, по-моему, смутно. Разве что телеграммку отобьют ему к празднику, да и то не всегда. Сын шлет ежемесячную десятку. Этим, однако, летом старик переводов не получал — получил сразу сороковку на днях. Взял маленькую, посидели мы с ним, выпили, посмотрели вместе корешок от перевода. Строки «для письменного сообщения» были девственно пусты.

— А все ж таки жив, значит, сукин сын, здоров,— сказал дед на прощанье.— Ну, и на том спасибо ему!

Сына его зовут Ким. Ким Яковлевич, тридцать третьего года рожденья. «Сам почти дед, да пустопляс,— говорит о нем дед,— нищеброд». Бездомность собственной старости его не огорчает, кажется почти нормальной, а вот сына...

Пока дед «ширкает» второй стакан, я одеваюсь, тщательно обуваюсь, натягивая поверх простых носков еще одни, вязаные. Дед, глядя на это, хмыкает:

— Ишь ты!

Это «ишь» может обозначать у него все что угодно. Не всегда сразу и разберешь что. Поэтому я уточняю:

— В каком смысле?

— Сапог портянки требует,— наставительно говорит он.

— Еще собьется, натрет. Так удобней.

— Гляди!

На дворе вроде бы и светло, а все ж и не совсем. Сразу за хоздвором мы сворачиваем, спускаемся к ручью и бредем по пояс в тумане. Туман так густ, что почти мылок на ощупь. Тропа просматривается в нем шагов на пять, не больше. Ручей чуть слышен. Еще раз свернув, поднимаемся из тумана и выходим на дорогу через лесопитомник. Дед останавливается.

— Ишь ты! — говорит он, делая лопатками и всей тощей спиной этакое почти кокетливое движение, будто тянется вверх, растет.— Ишь!

Это он, по-моему, о кленах. Слева от дороги растут саженцы каких-то особых, мелколистых кленов — канадских, что ли... И сейчас стоят они действительно... ну, прямо черт побери какие стоят! Нежно-розовые в свекольных прожилках листья почти прозрачны — так и горят, так и светят сквозь ошметья тумана. Кожица на ветках и даже стволах тонка и чуть розовата. Вообще что-то в этих деревцах есть такое девичье, стыдливо-прелестное, что их даже разглядывать неловко. Дед что-то бурчит, я переспрашиваю, он бурчит громче:

— Клен да береза — чем не дрова, хлеб да вода — чем не еда...

Следующая за кленами делянка уже пуста, саженцы убраны. У дороги насыпаны кучи торфа, на них, нахохлившись, сидят серые вороны. Когда мы подходим совсем близко, они тяжело срываются с мест и летят прямо над головами, с сухим насосным звуком вороша крыльями застоялый воздух.

— Ишь, бабье! — ворчит на них дед.

Ходит он вроде бы не спеша, но чем дальше, тем труднее за ним поспевать. А нам еще пилить и пилить.

У опушки я останавливаюсь. Раскидистое дерево влево от дороги словно не пожелтело, а выцвело. Листья его почти белы, тонки, бесплотно-прозрачны. Что же это? Ведь я здесь и летом ходил... Нет, не вспомнить!

— Дед,— окликаю,— что за дерево?

Он оборачивается.

— Черемуха... Ишь ягоды-то!

Поднимаю голову. Вершина белесой кроны полна черных, мелких, точно мушки, ягод.

— Понизу цветом отеребили, а наверху вызрело. Был бы моложе, на пирог нарвал.

— А кто печь станет?

— И то верно! — вздыхает дед. Бабка его, видать, пироги с черемухой пекла неплохие.

Не пройдя просекою и сотни шагов, дед сигает в сторону, через канаву.

— Ты куда?

— Грибы соберу.

В реденькой жухлой траве повыскакивали тут дождевики. Большие, плотные, обтянутые грязно-серой мохнатой кожицей, точно теннисные мячи.

— Тоже мне, грибы нашел! — говорю я с презрением.

— И нашел! Ишь ты: «нашел»...— огрызается дед.

Грибники мы с ним разные. Я беру с разбором — что сушить, что повкуснее в жарехе; дед же гребет подряд: солюхи — давай солюхи, сыроеги — сойдут сыроеги, зеленухи берет, опятки желтые. Даже вот дождевики...

Я жду его на дороге, разглядывая белесое небо, и вдруг снова, даже яснее, чем там, на опушке, вижу над собою бестелесую воздушную крону, полную черной ягоды. «Че-ре-муха,— произношу по складам,— чере-муха, черная муха». Надо же!.. Как похоже! И смеюсь счастливо.

— Ниче! — обидчиво говорит дед, выходя на дорогу.— Еще посмотрим, кто зимой посмеется. У зимы рот большой, подберет все — и соленое, и горькое.

— Так солюхи еще ладно бы! — подхватываю я.— А эти тебе на что? Жарить?

— Ну?

— Невкусные ведь, со сластинкой.

— Ишь какой вырос! — вертит дед перед моим носом самый большой дождевик.— Ишь! Ну, как ты его не съешь? Рос, рос, а вырос — и пропадай?

— Грех, что ли? А, дед?

Но дед уже будто не слышит. Шагает себе впереди.

Полузаросшая просека уходит вдаль прямо, точно ее по нитке отбили. Летом здесь довольно угрюмо — идешь, идешь, а все как на месте. Теперь же каждая березка и осинка видны издалека, тяжелая зелень сосен и ольх как бы разбита ими, раздвинута, и путь кажется пройденным быстрее, чем на самом деле. Молодые елочки с макушки до пят усыпаны веснушками дареного листа.

— Насчет греха, так я и сам неверующий,— внезапно обернувшись, говорит дед,— а все ж нехорошо, да и край! Раз уж вырос... Это вот: вырастает девка, а ее не любит никто. Что ж тут хорошего? Всяк злак на земле для своего вырастает.

— А если девка твоя некрасивая? Не всех же подряд любить.

— Ишь какой! — ворчит дед.— Так вы и живете, как по грибы ходите. К электричке сойдетесь и ну морду в чужие корзинки совать: «У вас скольки белых?» И носятся за этими белыми, что лоси: обувку рвут, лес портят... И носятся! А всё для хвастовства, чтоб друг перед дружкой...

— Ты зря так уж все-таки,— говорю я.— Белый — он белый и есть. Главный гриб, царский.

— Чем он тебе один такой царский? — ворчит дед несогласно.— Возьми вон рыжик или масленок — в жарехе они еще вкусней будут. А в засоле — груздь. Или сыроежка опять же — мне без нее все одно суп не суп и грибом не пахнет. Привыкли просто: ля-ля-ля, скольки белых? Хоть ты их в сервант выставляй!

Ну все! Сворачиваем, наконец, входим в лес, и теперь деда ни в какие разговоры не втянешь, пока не набьет он свою корзинку. Грибы он собирает всерьез, истово, молчком.

Завтракать мы устраиваемся на остатках какого-то фундамента из мощных красногранитных глыб. Лес кругом реденький, молодой, видно далеко. Влево от нас, все углубляясь, тянется распадок. В самой глубине его над рыжей болотной травой стоит голубоватый туман.

Дед пьет чай не спеша, шумно отдуваясь. Лицо его, осунувшееся от долгой ходьбы и поклонов, разглаживается, добреет.

— Финский был хутор, видать,— поясняет он, поглаживая фундамент.— Финны народ основательный. Ишь ты, каких каменюк наворочал!

— А наши чем тебе не угодили? Русский мужик тебе плох? — подзуживаю я.

— Так-то мужик он, конечно, ничего, да живет неосновательно. Финн — тот вишь как строит? А наш — чтоб только в тепло быстрее залезть, да в тепле том дитенка завесть. Эт точно. Вот у нас, в Щеглах... Еще перед войной клуб покосился. Ну и что ты думаешь? Парни его двумя бревнами подперли — и весь ремонт. Клубач уперся было: не открою, пока венцы не смените, но какое!.. Самогонки в него пару стаканов залили, взяли ключи и опять — пляс-перепляс.

— И завалился?

— Кто?

— Клуб, говорю, не завалился?

— А... Не, его уже после войны растащили — коровник перебирать. Ну, это время тяжелое было, я не охаиваю, да и гнил без пользы. А до войны-то у нас парней было, мужиков! Мама моя! Полна деревня. Что б им тот клуб сделать? Нет, ты им пляс подавай, а с делом отскочь. Плесни-ка еще, чаек у тебя лечебственный. С травкой небось?

Чай у меня не с травкой, а с коньячком. Не так, чтоб пьянило, но граммчиков пятьдесят на термос заливаю. Усталость хорошо снимает.

Бутерброд я умял, крышечку чая выпил да и повалился, где мох посуше. Лежу — в небо гляжу, гудеж в ногах слушаю. А дед все себе жует да чаек ширкает. Не спеша, потихонечку, все время будто прислушиваясь к чему-то далекому. Щечки у него от пьяного чаю зарозовели, мычки желтоватой седины у висков взмокли. Он тщательно утирается, вздыхает.

— Вот ты говорил: каждому только б поперед другого забежать.

— Я не так говорил.

— Это верно,— кивает он, явно меня не слыша, не слушая.— Вот у нас в Щеглах была девка одна. Такая, знаешь... Где она ни есть, так вокруг хоровод. Рыжая коса — во! Мордень без веснушек, сама в теле — всяк так тиснуть и тянется, а она и сама не отказчица. Я тогда еще с мамкою жил, в Красухе, пацан, в Щеглы на игрища бегали. И вот давай я тоже до нее — во все игры, в горелки, в лычки, в кольцо-кольцо — все я к ней норовлю, все куда бы ее выманить... А ведь если по сердцу, так она мне и не нравилась, да и чуял, понимаешь, что добром это мне не кончится, но — как бес под ребро: ее да ее. Ну, выманул разок за овин. Только мы там почали целоваться, а меня сзади по уху — хлясь! Она — бегом, а мне — куда? При девке-то не побежишь. Так меня отволтузили, что

с росой только и в память пришел. Ну, и Настюшка, царствие ей небесное, спасибо, на речку шла: «Это, говорит, ты, что ли, Яшенька?» Воды принесла, кровищу обмыла, руку завязала и все плачет надо мной, все плачет. И тут ты вот что скажи: ведь она-то мне и нравилась, Настя! Ну? Иду, бывало, в Щеглы и все об ней думаю, какая она маленькая, да тихая, да улыбается как. Хорошо так думаю, иду... А пришел — и к рыжей.

— Бывает такое.

— То-то и бывает, что шуму в человеке много, лишнего всего, сору. Ему бы вот так вот, во... Ты послушай!

Я прислушиваюсь. Тишина стоит — даже неестественная. Хотя звуки какие-то есть. Дятел стучит далеко, пичуга свистнула... Звуков даже и много, но каждый слышен в отдельности, не смешанный с другими, и тишина кажется нерушимой. Хотя... вон уже что-то стрекочет, поцокивает железно, торопливо, как бы самое себя обгоняя.

— Электричка? — удивляюсь я.— Ведь мы километров за десять от дороги ушли!

— Она! Человек один и шумит. Ишь как, ишь! На весь лес. Или опять же на войне возьми...

— Ну а что на войне?

Но дед молчит. Долго молчит, будто про себя рассказывает.

— Ну,— говорю,— чего? Чай выпили... Пошли обратно?

— Пойдем,— соглашается он, не двигаясь.

Я тоже лежу. Мне-то подниматься первым негоже. Он человек пожилой, может, устал, силы копит.

— А хоть ты и после войны возьми,— вдруг говорит он.— Хоть и меня, к примеру. Пришел я до своей Насти, дети живы, здоровы, Кимка уже прицепщиком, все чин чинарем — живи, как и все живем. Так? И сам не калека. Чего еще? Нет, понимаешь! — досадливо хлопает он по острой коленке.— Потянуло сукина сына на любовь — порушил все, убег...

— К рыжей, что ли?

— Какое! Та давно сгинула. У скороспелок вся судьба кувырком, сам знаешь. А подросла одна певунья такая. Голосок что мед майский: чисто течет, тоненько, долго.

Старик потягивается, улыбаясь, жмурясь, и улыбка выходит у него совсем не покаянная. Такая улыбка, что сюда бы, мол, эту певунью, он бы, может, и теперь... Но говорит он строго:

— Ишь, поперед хлеба песен ему захотелось! Старому хрену да к сладкой морковочке. Оно, конечно, недолго и погулял, всего годок с небольшим. Песни песнями, а иной раз

и совесть в тебе заскулит, так? Ну, вернулся, баба простила. Баба, которая настоящая,— она тебе что хочешь простит, если ты по сердцу ей, это так! А Кимка — тот до сих пор десятку сквозь зубы шлет, словца не вякнет...

— И дочка в обиде?

— Дочка? — поднимает он голову. Потом рукой машет: — Не... У нее другое — ребят трое. Бабье дело кропотное: день отжила — и ладно, на то у них и ум короткий. А мужик — тот, паря, долгой думкой живет, на всю жизнь ее раскидывает, смотрит: так ли? Ну и как втемяшится ему что...

Дед безнадежно машет рукой, встает, охлопывает карманы и, отыскав сигареты, закуривает.

— Не-ет! — говорит он сокрушенно и наставительно.— Что ты ни говори, а одним нам, старикам, хорошо. К старости в человеке самое то остается, самое, чем по правде жить.

— Все молодые, по-твоему, не по правде живут?

— Правда, она, парень, в тишине заводится, в думках, а вы все норовите друг дружки поперед забежать, все шумите — где уж вам правду знать? Слабо вам...

Мы шагаем вниз. Влажная хвоя скользит под ногою, пружинит, рябит в глаза палый лист, прикидывается то волнушкой, то лисичкой... Мы незаметно разбредаемся все дальше, и когда уже почти не видны друг другу, дед, как бы спохватившись, весело кричит:

— Эй! А насчет сапогов, так не учил бы ты меня, паря! Я в них опять-таки всю войну!

Возвращаемся обычно другой стороной, мимо озера. Грибов здесь нет и быть не может. Летом пляжники все так утаптывают, что непонятно, как и деревья растут. Каждый кустик, каждая сосна окружена извилистыми, до песка пробитыми тропками. Скучное место.

Озеро лежит на дне глубокой рыже-зеленой чаши. Непривычно пустынная, заброшенная, кажется она огромной. Уже далеко за полдень, но внизу, у давно никем не тревожимой воды, в серых кустах ивняка держится еще реденький туман и рассветная дрема. Горсть черных валунов брошена в воду у того берега. Сероголовые озерные чайки дремлют на них, не испытывая никакого интереса ни к нам, ни друг к другу, ни даже к рыбе, спящей под их валунами... Да и есть ли тут рыба?

Вниз, к воде, нам идти незачем. Просто стоим несколько минут, смотрим на чаек. Тишина...

Придя домой, включаю масленый радиатор, выделенный мне на случай холодных ночей, кладу его плашмя на табуретку и, застелив бумагой, раскладываю на нем молодые боровички — сушиться. Такая вот у меня рационализация. Остальные грибы я тут же чищу, варю и жарю, позаимствовав у деда луковицу. Жарехи получается столько, что я даю себе слово хотя бы завтра ни за что ни по какие грибы не идти. Кормежки хватит, а пора и работать. Для чего, в самом-то деле, удрал я сюда? Не для грибов же — работать.

Поев, деловито сажусь за бумаги, но опять никак не могу вникнуть, войти в их беспокойный, когда-то придуманный мною мир. Сижу и бессмысленно глазею в окно, на неподвижные деревья. Даже осиновый лист не дрожит нынче. Вчера были сороки, дрозды шумели в рябинах, а сегодня дятел — и тот нигде не стучит. Тихо... На сосне с сухою вершиною дремлет ворона. Я еще грибы жарил — она так же сидела. И все сидит, не шелохнется, в сторону не поведет тяжелой черною головой. Как чайки на озере.

Вдруг встрепенувшись, она срывается с места и с криком перемахивает на соседнюю сосну. Что с ней: дурной сон? лапы затекли? Или птиц, как и нас грешных, беспокоит чужой пристальный взгляд? Береза, над которой она пролетела, роняет из дрогнувших рук золотые монеты. Медлительным широким винтом идут они к земле. Воздух сероват, густ. Подвывая моторами, уходит от станции электричка. Снова все застывает, и кажется, тишина становится еще глубже и полней, если это только возможно. Теперь уж точно ничто не шелохнет.

Я чувствую, как нарастает во мне неодолимое беспокойство, сладкая маета. Не могу больше сидеть, не могу. Поднимаюсь и выхожу на крыльцо. Воздух пьян и горек от палого листа, близкого тумана. Да вот он и сам, туман,— вспухает опять над ручьем, протекает сквозь редкий ольшаник... Так хорошо, что почти уже больно. Что же это такое со мной? Что? Эта тишина — она как высшее мгновенье любви, которое уже невозможно продлить; но она длится, длится...

Начинается морось. Светлая влага беззвучно оседает на землю, еле видимые язычки тумана ползут по траве, лижут мне ступни.

Господи, господи! Что же она такое — эта твоя тишина? Для чего она мне, чего от меня хочет, чего ждет?

Решаю вдруг, что надо топить печку, и с усилием сбрасываю оцепенение. Конечно! Непременно! Ведь сыро, грибы зачервивеют... Бегу к деду за топором, раскалываю несколько березовых полешек, невольно после каждого удара замирая

и слушая, как сочно, будто налитое яблочко, лопается чурка, как долго перекатывается в сыром воздухе гаснущий звук.

Древесные волоконца на свежих сколах кажутся мне необычайно выпуклыми, белыми, сахарными. Поднимаясь на крыльцо с охапкой поленьев, я не удерживаюсь и трогаю одно из них языком. Как будто и вправду сластит. А?

Тяга в печке прекрасна, всему вопреки. Пламя с газетного клочка прыгает на лучины, схватывается — и вот оно уже пляшет на белых поленьях, вгрызается в них с победным гулом и треском. Я выхожу посмотреть на трубу: голубоватый дымок ровненько встает над нею. Искра выскочила и тут же погасла.

Я слегка разочарован и, кажется, втайне надеялся на другое — помучаться, раздувая огонь, до слез наглотаться дыму... Мне, может, потому и не работается, что слишком уж все хорошо! Надо бы чуть похуже.

Засыпаю я в сухом тепле, даже без одеяла, под медленный шорох дождя. А просыпаюсь среди какой-то особой, слишком полной и потому подозрительной тишины. Сую ноги в сапоги, накидываю плащ, выхожу. Делаю несколько шагов по невидимой тропке и останавливаюсь в недоумении: куда идти? Тьма, как слепой, мягко ощупывает мое лицо сырыми пальцами. Желтый конус единственного фонаря у наших ворот далек и недвижен. Лужа под ним блестит черным шелком. И медленные шаги — ширк! ширк!

— Дед? — окликаю.— Ты?

— Ну я. Спужался?

Он приближается, как бы сгущаясь, уплотняясь из тьмы — странная фигура в длиннейшем дождевике. Останавливается закуривает.

— Че не спишь?

Я молчу.

— Правильно делаешь,— говорит он после затяжки.— Так тихо, что даже моркотно. Точно покойничку...

В самом деле — никаких звуков. Только трещит, сгорая, табак в его сигарете. Наконец, где-то невообразимо далеко возникает тяжеловато-ритмичный цок. Идет товарный. Из Ленинграда. Я облегченно вздыхаю. Дед затягивается поглубже и говорит:

— Ну, пойду! Тоже и поспать надо.

Окурок малиновой дугой летит в сырую траву и гаснет с тихим шипеньем.

Шаркающие шаги растаивают, исчезают во тьме. Уже и поезд прошел. Тихо...

Я чувствую, как эта тишина ласково и настойчиво сжимает мне сердце. Чего-то она все ждет, куда-то тянет... Но — чего и куда? И зачем она вообще бывает на земле — эта немыслимая, глубокая, сырая и теплая осенняя тишина?

ТОТ МОСКОВСКИЙ ЗАКАТ

Памяти Толи Кононова

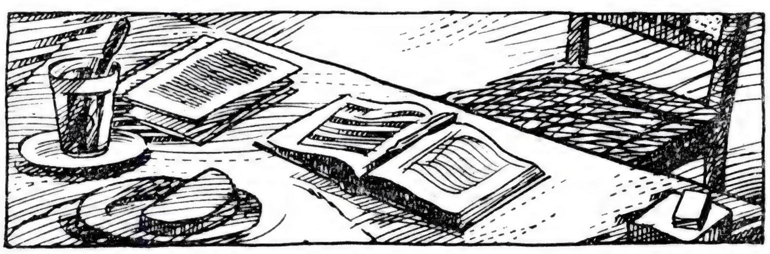
...все не так просто, и я лишь тешу себя фантазиями об уже пойманном закате.

Хулио Кортасар

Улица полого взбегает на холм и впадает в закат. Пока облака, тяжелые, будто разбухшие от сырости бревна, тлея и оседая, вдавливают багровое солнце за черные зубцы леса, я как раз успеваю пройти ее всю, до самой лесной опушки. Просто гуляю, дышу спиртовой сентябрьской сыростью, маршрут мне безразличен, но ноги ежевечерне выносят меня к этой улице, непроизвольно и безошибочно. Иду по ней до конца, а когда поворачиваю назад, земля уже тонет в молочном киселе тумана, и только дома и деревья плывут над ним глыбами тьмы. Я чувствую уже, что опять проснусь среди ночи и долго, с необъяснимо замершим сердцем буду вслушиваться в настырную суету мышей, все что-то грызущих, подтачивающих... Хозяйка дачи клянется: мышей у нее отродясь не бывало, а я слышу их каждую ночь.

Закат — обманщик; краски его неповторимы, текучи, он завораживает, и я, прекрасно зная прозаическую зависимость этих красок от силы ветра, температуры и влажности, никак не могу до конца подавить в себе сомнительную надежду хоть на секунду поймать в багровом этом зареве мягкую позолоту того московского заката; не могу, хотя у нас уже и сентябрь на излете, уже горит клен...

А был тогда в Москве август, теплынь. Москвички и в сумерки выходили на улицу Горького в полупрозрачных нейлонах и легких юбочках-парашютах. Еще не все было так перемешано и взболтано в жизни, как нынче; в любой толпе мы еще безошибочно выделяли москвичек по тряпкам и особому умению вызывать восхищенно-боязливо-почтительные взгля-



ды юных провинциалов, отвечая на них улыбкою почти высокомерной, хоть и ободряющею исподтишка.

В Москве еще не было ни нового Арбата, ни нового МХАТа на Тверском, ни многого другого, но несмотря на это, а может, и благодаря этому, столица в ней чувствовалась както ясней, ярче... А может, просто куда больше провинциального было в тех углах, откуда мы добирались, по нескольку дней изнывая от нетерпения на жестких полках поездов, еще влекомых кой-где яростно-отдышливым паровозом, еще пропитанных насквозь кислым угольным дымом. И когда, особенно тщательно в последнее утро отмывшись от паровозной копоти, в надраенных до блеска туфлях и моднейшей своей рубашечке ступали мы впервые под голубое московское небо или под быстрый московский дождик — это было совсем не то, что теперь. Не те надежды, не та зависть, не тот восторг...

Мы упивались столицей! Месяца вступительных экзаменов не хватало, чтоб убедить себя, будто вот этот товарищ, как у себя дома шествующий московским бульваром, не кто иной, как ты. А в то же время в мечтах мы уносились так далеко от простого этого факта, что, смущая москвичек, посматривали на них хоть и восхищенно, но не менее высокомерно. Как, скажем, мог бы Бонапарт, знай он свое будущее, поглядывать на членов Директории: о да, господин Баррас, я вами восхищен, но вообще-то очень даже скоро... Это-то и делало замечательно интересной любую прогулку.

У институтских ворот я, помнится, постоял с минуту, выбирая: вниз, к арбатским ли переулочкам, по Малой ли Бронной направо? И почему-то пошел мимо аптеки, вверх, к памятнику, к вянувшим цветам на его граните, к бодрящей водяной пыли фонтана, мимо кинотеатра и потом вправо, на Пушкинскую...

И было это счастливым случаем, везением или даже судьбой, ибо он со своим тогдашним приятелем как раз поднимался по Петровке вверх и у магазина пишущих машинок окликнул меня:

— Ты куда? Пошли с нами!

— Куда это с вами?

Нет, мне не хочется называть его здесь чужим именем, а настоящим... Я-то честно расскажу, кем был он для меня, но подлинный ли, его ли получится это портрет? Кто знает... Пусть лучше будет просто он, мой друг.

— Да так,— загадочно он ухмыльнулся,— устроим себе последнюю упряжечку, пошли?

Я и понятия не имел, что за упряжка и чем она пахнет, но радостно повернул за ними, к веранде у кинотеатра «Россия».

Теперь этой веранды нет. То есть она есть, но это пустая и скучная цокольная площадка, вот и все. А тогда была на ней буфетная стойка, нарядно сверкали голубым пластиком столики, креслица из черных трубок оплетены были белым и голубым хлорвиниловым шнуром — мебель в наших палестинах еще невиданная и потому казавшаяся прекрасной.

Правда, шампанское, здесь продававшееся, было не по нашим шишам, но на другом углу площади, в магазине «Армения» полки ломились под «Октемберяном» и прочими недурственными винами за рубль с серебром. Всегда было можно, взяв мороженое и заняв столик, отрядить одного за бутылочною подмогой.

В тот вечер мы как раз и открыли это замечательное место, где не раз потом сиживали дни напролет. Оно нам понравилось сразу: свежий воздух, можно курить... Так мы сказали друг другу, хотя было здесь кой-что и получше воздуха — была атмосфера. Голубоватый в сумерках дым сигарет сплетался и покачивался в ней над головами сидящих так завораживающе, точно и не дым это, а самая первая, еще очень неплотная материализация прекраснейших молодых надежд.

Когда теперь прохожу мимо осиротевшего этого места, мне делается неловко. Я чувствую себя почти виноватым перед нынешними молодыми, что лишены они прекрасной этой возможности — просиживать вечера на нашей веранде. Хотя еще неизвестно, пошли бы они сюда. У них, наверное, места свои. У каждого поколения бывают свои места, а наших уже почти и нет, особенно здесь, в районе Пушкинской площади.

А какие это были места!

Мы приезжали из общаги на «тройке» и, если не очень опаздывали, да к тому ж при хлопке по карману там что-то звенело, бежали вокруг площади в «Молочную», занимавшую почти всю лицевую сторону квартала между Большой Бронной и Тверским бульваром.

Возможно, для москвичей «Молочная» эта была вполне зауряд-кормушкой, но мы ее любили. Она казалась нам весьма столичной и почти фешенебельной. Тут продавали взбитые сливки с тертым шоколадом, многослойное желе и другие вещи, неведомые в наших родных углах; мы иногда даже лакомились ими, хоть и тайком друг от друга, чтоб не ронять своей взрослости. Но главное — какая была тут публика!

Особенно нас занимал один старик — высокий, тощий, с царственною, седой бородой, в длинном пиджаке с заплатками из мешковины на локтях. Неторопливый и аккуратный, он появлялся всегда в половине девятого, брал школьную

булочку, стакан молочного киселя и надолго усаживался за дальний столик читать английские и немецкие газеты.

Была здесь еще постоянная стайка девиц в одинаковых халатиках морковного цвета. Халатики как будто выдавали в них продавщиц соседнего магазина, но это, думалось иногда, была маскировка, ибо при первом же взгляде на них не оставалось сомнений, что это очень интеллигентные девушки, коренные москвички, так увлеченные собой и своею беседой, что где уж им нас увидеть! Даже перехватив на себе взгляд из-под моднейших ресниц, ты сомневался невольно: не по ошибке ли это она, не в рассеянности?

Они приходили в обед, но дед и в обед по-прежнему сидел здесь со своею булочкой. И всякий раз какая-нибудь из них брала лишние взбитые сливки или пару бутербродов и относила на его столик. Дед величественно кивал из-за своих газет: «Мерси!» Под его ласково поощряющим взглядом девушка смущалась и невольно изображала подобие книксена...

Нас все это восхищало. Меня больше девушки, его — старик.

— Осколок! — говорил он, значительно поднимая палец.— Небось зимой хоть и булочки не берет, а гардеробщику на чай, получая свою рванину, кидает гривенник. Пари?

Жаль, что я не принял это пари, что так ни разу и не повидал старика зимой, не узнал,кто он и за что так любят его продавщицы. Теперь и не узнаю, а в свое время, пожалуй, мог бы.

Мог бы, но мы были еще в том возрасте, когда все так легко откладывается на потом, до какой-то другой, правильной и праведной жизни, а она все не наступает, и по утрам в голове у нас частенько звенело куда громче, чем в кармане. Тогда направлялись мы не в «Молочную», а в маленький полуподвальный буфет на Бронной. Все было здесь ускоренно-упрощенно, навстояк, но кефир лечил наши головы, а свежие пирожки с капустой утоляли голод за минимальную цену. И здесь почему-то проще было заговорить с девушками. Многие из них были в таких же морковных халатиках, но задорней и откровенней поглядывали по сторонам и не пытались делать книксен. Мы, правда, и тут лишь зубоскалили с ними слегка, за недосугом откладывая более решительные меры на потом, до другой жизни.

А после лекций — верандочка у кинотеатра «Россия», легкое вино, градусов которого мы совершенно не ощущали. Прилежный читатель толстовских трактатов, он, следом за классиком, делил свой день на пять «трудовых упряжек», и последнюю, заключающую в себе «труд человеческого общения», ценил так высоко, что с ним нигде нельзя было говорить,

не напрягая извилин, а это напряжение прекрасно гасит алкоголь.

Славные были места!

Ни одного из них уже нет и в помине. Весь этот квартал кривостенных двух- и трехэтажек пожертвован Моссоветом под сквер. Сквер как сквер: кусты, деревья. Когда-нибудь они разрастутся, дымка чужой юности и непонятной мне грусти овеет коротенькие эти аллеи... Да и вообще это, наверное, мудрое было решенье — должна же какая-то зелень поглощать рев и вонь взрывоподобно размножившегося автостада! Но каждый раз в этом сквере мне делалось так пустынно и зябко, так отовсюду продуваемо и одиноко, что, бывая в Москве, я стал обходить его стороной.

Но я все тороплюсь, забегаю вперед... В тот вечер все эти наши места и разговоры, вся дружба и временами вражда (ибо не бывает постоянной дружбы без временной вражды) — все было еще впереди. Под тем золотым закатом все только начиналось, проклевывалось. Это там, на веранде, было, возможно, сказано то самое важное, что сразу позволило нам отличить друг друга и подружиться на два долгих десятилетия. Наверное, было, но я не помню. Так странно.

— Чудак! — сказал бы он.— Да что ж тут странного? Ведь мы...

И началась бы одна из его лекций — они так и сыпались из него, будто горох из мешка! — о том, что в моменты всех наиболее важных решений и действий природа, как правило, отключает наш разум, вверяя нас более древним силам, которые мы лишь по неведению называем судьбой. Вот мы ничего потом и не помним.

— Вот так! — сказал бы он.— А то: странно. Возлюбили словечко... А что значит «странно»? Это, старички, не объяснение, а бессмыслица, пустота.

Он был строг и справедлив, не любя это пустое слово, которое я так и не сумел разлюбить, что тоже, конечно, странно.

А в тот вечер...

Помню, закатное солнце било ему прямо в лицо, отчего морщины на лбу казались особенно глубокими, резкими. В темных стеклах очков покачивались у него изогнутые дома и пробегали, криво вытягиваясь, автомобили. Сидел он в любимой позе — поставив локоть на стол и поглаживая указательным пальцем вытянутую, слегка пористую картофелину носа, говорил похмыкивая.

Помню фиолетового оттенка тень, все удлинявшуюся, как бы всплывавшую с жарких мостовых, карабкавшуюся с этажа на этаж, стирая с них самоварную позолоту заката. Самоварную не в смысле фальши, а очень такую теплую, домашнюю, без чрезмерности парадного блеска. Помню, как тень эта, восходя и густея, не скрадывала, а обнажала невидимые раньше пятна и трещины поношенных фасадов.

Вообще все, что было вокруг нас, помню настолько ярко, что мне иногда кажется, будто я и сам был где-то в стороне от нашего столика. Прекрасно вижу его немного сверху и сбоку: три молодые шевелюры, его наморщенный и ярко высвеченный закатом лоб, блеск оранжевого луча в зеленоватом стекле...

Так, похоже, со стороны я и смотрел тогда, не слыша ни слова, и счастлив был как бы со стороны, подобно бабушке, до слез умиленной одним лишь видом внучка, сидящего рядом с большими. Да они и были большими — наши несомненные институтские таланты, само общество которых как-то выделяло и меня из обширной толпы прочих. Это, поди, душу мою и грело, это ее и успокаивало.

Но ясно ведь вместе с тем помню: о чем-то мы спорили, довольно яростно. Вот только: о чем был спор?.. А потом он что-то рассказывал, я даже отдельные фразы повторял про себя, пытаясь запомнить. Но — что за фразы, о чем?.. И почему тот я, который наблюдал за всем со стороны, помнит так много, а споривший за столом — все начисто позабыл?

Да и мог ли я уже тогда, ощущать в свой самый счастливый вечер, подобное раздвоение, то есть нечто довольно болезненное? Нет, пожалуй, вряд ли... Это опять-таки не моя, а его была любимая тема — о неистребимой нашей двойственности, о том, что мы никогда не можем избавиться от веры в то, во что совершенно не верим, и всегда сохраняем готовность поклониться тому, что яростно отвергаем. Мне это долго казалось чудовищным вздором, я спорил до хрипоты, и даже ссылки на Монтеня не усмиряли меня. Так что раздвоение это произошло вероятней уже потом, в памяти. Вот только — как это проверить? Ведь прошлое еще и потому невосстановимо для нас, что из того сложного сплава разных идей и людей, которым становимся мы к сорока, невозможно уже выделить химически чистую первооснову нашего двадцатилетнего «я».

И все-таки — о чем мы тогда говорили? Не о Монтене ли, кстати, его любимом? Монтеня мы и сами, разумеется, должны были знать, но где ты возьмешь его в наших медвежьих краях, да и кто же читает положенное по программе? Я про-

чел «Опыты» лет на пять позже, испытав при этом почти что разочарование. Не могу объяснить почему, но когда он, прерывая наши споры, возглашал: «Стой, старички! Не надо вставать на ходули — и на ходулях ножками двигать придется, ножками!» — это казалось мне мудрей и парадоксальней, чем подобная же фраза, мелькнувшая потом у великого философа.

Чуть не целое десятилетие я открывал умные книги в основном вслед за ним, после его рассказов. И мысли знаменитых авторов не то что мельчали при этом, нет, но как-то чужели, как чужеет вдруг вещь, от долгого хранения не пахнущая уже родным человеком. Мы и не думаем о ее запахе, просто разворачиваем однажды,— а это уже и то, да не то.

А может, он рассказывал тогда о подруге? Он был самым старшим из нас, уже за тридцать, и у него, естественно, была жена, дети... Но кроме них была и подруга. Подвыпив, он начинал: «А вот, старички, моя подруга...» И еще — о великих писателях, у которых тоже были не жены, а подруги жизни. Он знал о них подозрительно много, и теперь, задним числом, я понимаю, что это совесть его была неспокойна, постоянно ища оправданий в чужой жизни.

Но это опять-таки сейчас, а тогда рассказы о подруге были для меня вестью из еще не освоенной и потому особо прекрасной области жизни, вроде того, как самыми умными всегда кажутся еще не прочитанные книги.

Помню, как-то весной, сидючи под конец сессии без копья...

Мы жили в институте небольшой коммункой — только это и позволяло ему благополучно дотягивать до отъезда, ибо по примеру любимого философа он охотно предоставлял другим заботиться о своем благополучии и хозяйничать в кошельке. Увы, без родового замка и штатного управляющего теория срабатывала как-то не так. Настолько не так, что даже умение проживать в день всего полтинник не всегда выручало, так как полтинника иной раз и не было.

Вообще-то вне института он был слесарем-инструментальщиком и совсем неплохо зарабатывал, но были дети, родичи, вечные долги, внезапные поездки, теория...

Все мы, впрочем, великими финансистами не были, общий кошелек тоже пустел досрочно, и в критическое такое вот утро, спустившись на вахту, я обнаружил внезапный перевод от его подруги. Как я обрадовался! Нет, не деньгам. Мы б выкрутились, я должен был кое-что получить, под это можно было занять... Но какая интуиция! Он ничего ей не писал, не ждал, они даже в ссоре, кажется, были, а она сама за тысячу

верст почувствовала беду, и как, главное, вовремя! Нет, но бывает же такая любовь и настоящие ангелы-хранительницы ненадежного нашего брата!

Потом были совсем другие годы, когда я думал, что подруга-то и губит его талант, постоянно с ним ссорясь, сходясь, расходясь, требуя денег и всячески не давая работать. И были еще иные, когда я наконец понял, что ничем не может быть виноват перед тобой человек, которого ты любишь, ровно как ничто не может помешать сделать работу, если тебе суждено ее сделать.

Но все это было потом, а в тот вечер с его золотым закатом мы почти еще не знали друг друга, только приглядывались, принюхивались, и вряд ли он мог так уж сразу заговорить о подруге. Нет, нет, скорее всего, шел толк о делах. Ведь у них — у него и тогдашнего его приятеля,— в отличие от меня, были уже какие-то дела в московских редакциях, в театрах, что-то там намечалось, чтобы потом сорваться, опять наметиться и сорваться опять... Мне же казалось тогда, я был почти уверен, что в этих-то делах и таится самая соль и прелесть жизни, высшее ее блаженство. И понятно, как слушал я эти рассказы.

Говорят, все пишущие завистливы и хвастливы. Спорить не буду и головы на отсеченье не дам, что они не привирали маленько, но... Я слушал их с чистым восторгом, без капли зависти. Честно! Я ведь был самым младшим и еще без горечи в душе откладывал свои победы на будущее, а их успехам радовался, само собой, как их успехам, и еще больше — потому, что они как бы предвещали и мои, будущие, указывали их срок и почти что гарантировали.

Впрочем, бог с ним, с тогдашним разговором! Кто его знает — вдруг там и в самом деле ничего важного не было?

Но бесконечно для меня важно, что тихо догорал вечер, поднимались сумерки, стирая со стен закатный румянец, и только над дальними крышами горело еще золотое свеченье, обещая прекрасный безоблачный день. Легкий ветерок шелестел вдоль бульваров, поглаживая, щекоча прохладными пальцами нажаренную за день кожу, троллейбусы урчали моторами неспешно и ласково, будто старые коты на лежанке. Совсем рядом с нами, на углу, провода их скрещивались, из-под пощелкивающих штанг вылетали длинные голубые искры, и чистый запах озона перебивал на миг духоту раскаленного асфальта.

Никогда уже во всю жизнь не чувствовал я такой защи-

щенности и покоя! Такой всеобщей ласковости окружающего мира, такой надежности его и правильности.

И вот этот закат догорал, зеленца проступала в темнеющем небе — глубокая, чуть мерцающая зеленца с проколами первых звезд.

Он снял темные очки, спрятал в карман линялой ковбойки (единственный из нас, он уже тогда появлялся в столице вполне затрапезно) и вскинул голову к небу.

— Да-а,— сказал, потягиваясь и разминая плечи,— да, старички, грустное дело закат!

Я дернулся спорить: о чем, мол, грустить? Я всегда дергался с ним спорить и чаще, боюсь, просто из желания хоть както обозначить свою самостоятельность, ибо всегда при нем ощущал катастрофическое ее таяние.

Но, дернувшись, я тоже поднял глаза и почти в зените увидел одинокое, тонкое, как вуалька, облачко, почти уже исчезающее и все же хранящее в себе последний розовый отблеск. В нем была не грусть, нет, но что-то более краткое и сильное, как мгновенное предощущение какой-то пропажи, гибели и вины.

— Это облако, оно как-то...— сказал я и смолк.

— Да, старики,— торжественно произнес он,— вот так и писать надо, чтоб, как в облаке этом, вроде ничего и нет, а душа болит!

Конец золотого вечера был непременно таков, это уж точно! Ибо о чем бы, где бы и когда бы ни говорили, он все сводил на то, как надо писать. И только при этом глаза его загорались по-настоящему.

Той слякотной рижской осенью, когда его хоронили, все собравшиеся за поминальным столом сокрушались горестно и недоуменно: как же, мол, так? Почему, так здорово все понимая, он сам ничего, почти ничего... Почему?

Каждый говорил: нет, не верю, не нахожу объясненья — и тут же принимался объяснять. О женах его говорили за тем столом, о водке, о самолюбии столь непомерном, что оно не позволяло ему удовлетворяться обычным, то есть половинчатым успехом, о самомнении, из-за которого он брался за такие темы, что лишь великим и по зубам... И опять — о его водке, о бабах.

Мы искренне сокрушались и горевали, почти не чувствуя той гордости, что заползала уже потихонечку в наши сердца и речи. Смерть — она как гонг. И мы спешили подсчитать очки, чтоб убедиться в своем перевесе. Нет, я не сужу, дело не в этом, а просто: все эти объяснения всуе.

На тех поминках я отмолчался, но как отмолчаться перед

собой, перед этим закатом, узким и кровоточащим вдали, как рана? Как все это совместить: и золотой московский вечер, и рижские похороны, и семнадцать лет между ними? Семнадцать лет! Утек океан воды, выросли дети, полысели друзья, кое-кто из них вышел в люди, приобрел начальственный басок и горделивую осанку — а он все рассуждал, все устраивал свою «последнюю упряжечку», все учил нас, как надо писать, все собирался что-то начать...

После института мы виделись с ним не часто, писем почти не писали, но иногда, раз в год или еще реже, чувствовали, что как-то не так нам живется — преснее, что ли, скучней... И понимали: пора встретиться.

Если хотите, это были почти деловые поездки. Я привозил к нему вычитанное, понятое и придуманное так же, как заводы везут в столицу образцы для присвоения Знака качества. Он собирал морщины на лбу, потирал нос указательным пальцем, и мы говорили, говорили, спорили, ругались, и я уезжал, чувствуя себя поумневшим.

Так как же понять то, что у всех нас, нищенски подбиравших крохи с его стола, у всех — хоть что-нибудь да получилось, хоть на копейку, да вышло, и только у него — самого умного и талантливого — ничего, нуль абсолютный, дубль пусто-пусто. Ни семьи, ни любви, ни дела. Ум, талант, работоспособность — а я знаю его работоспособность: мы с ним однажды в тайге кедровую шишку били, это вам не перышком водить! Всё сгорело бездымно и беззольно. Бесследно. Как же это понять? Нет, не хочу, не могу, душа моя кровоточит, не в силах примириться с тем, с чем хочешь не хочешь, а примириться надо, ибо произошло. Похожая боль знакома бывшим фронтовикам: «Я знаю, никакой моей вины...»

Но в нашей-то судьбе ни пуль шальных не было, ни случайных осколков, ни бед, кроме нами же выдуманных и сотворенных. Так, может быть, все-таки была вина?

Вот мы, допустим, встречались, говорили, спорили, и эти оры-разговоры служили мне такой подпиткой мозгов, что... А чем они служили ему, что давали? Проще всего сказать: что-нибудь да давали, раз звал он, раз приезжал. Проще всего, но... стоит ли говорить то, что проще всего сказать?

А если взять посложней и сказать, что мы, ближние, окружавшие, растащили его по копейке и рублику, промотали, того не заметив, как содержимое его кошелька проматывали когда-то, благо этот человек совсем не умел запираться и отгораживать свое? А? Вдруг оно так и есть?

— Пойдем с нами! — сказал он тогда, на Пушкинской.

Я повернулся, пошел... И долгие годы мне шагалось бес-

печно, как всякому, идущему во второй шеренге,— знай себе попадай в ногу.

Улица взбегает на холм и там, вдали, впадает в закат. Иду по ней один-одинешенек.

Уже и сентябрь на излете, все больше в небе холодной густой синевы и тревожного багрянца, все меньше лимонного, золотого. Все холодней и гуще вечерние туманы, все дальше и слаже — сладко до слез! — слышен дымок сжигаемой ботвы, все больше под ногами листьев. Сухо, как мышки, скребут они асфальт, перегоняемые ветром, куда-то все торопятся на крохотных загнутых лапках, бегут, скребут, точат...

Я давно понял: никогда он больше не загорится для меня — тот московский закат. Не поможет ни август, ни поездка в Москву. Мы меняемся, и в сорок наши глаза уже не увидят того, что видели в двадцать.

Но ведь был же он, был! И может быть, стоит лишь оглянуться...

Иду не оглядываясь.

Я просто несу его за плечами. Вернее — он несет себя сам, как хлеб.

БЕЛЫЕ КОНИ

1

Командировка начиналась весело.

У каждого, наверное, оставались в поселке и неприятные заботы, и всякие там нерешенные дела, но в то утро все жили уже не этим, а предвкушением вольного будущего — веселой работы на токах, вечернего пляжа, рыбалки,— и потому все были немного взвинчены, старались блеснуть пред девицами, а тут еще утро после перепавшего ночью дождя выдалось прекрасным, солнечным, почти что смеющимся...

Один Николай Бажуков как вошел первым в автобус, как сел у окна, так и сидел. Он был, правда, самым старшим. Мы-то все — холостежь, вольные пташки, а ему за тридцать, жена, ребенок, даже, кажется, двое... Семейные у нас в совхоз вообще-то не ездили, и потому думалось, что Бажуков, мол, тем и расстроен, что не сумел отбояриться.

Автобус катил, подрагивая от взрывов хохота. Мы обна-

ружили, что не всех еще знаем по именам, каждый стал представляться, а остальные комментировали.

Очкастый толстоватый парень, сидевший впереди Николая, представился так:

— Сергей, химик.

— С нарядами химичишь? — мгновенно уточнил Саня Аяков.

Все так и грохнули.

И сквозь смех этот мы услышали единственную за всю дорогу негромкую реплику Николая:

— Куда как умно!

— А ты что-нибудь умней скажи, ну?! — крутнулся к нему Саня.

Но Бажуков небрежно махнул на него рукой и отвернулся к окошку, за которым летел горячий воздух, плавившийся, дрожавший у горизонта над бурым льном, золотистыми копнами ржаной соломы и яркой зеленью клеверных отав.

Автобус шел до района, а там у почты ждал нас совхозный грузовик, и он-то за полчаса колдобистой лесной дороги к парому успел отбить нам мягкие места, намять бока и притупить охоту к песням и шуткам.

После парома, на том берегу Волги, дорога снова стала ровной и мягкой, грузовичок ходко принял наизволок, как будто хотел удрать от мельчайшего белесого песка, вырывавшегося из-под колес пушистым хвостом.

Тут все хохмачи окончательно приумолкли, а Химик попытался заговорить с Бажуковым, сидевшим теперь напротив.

— Однако зе́мли тут, а? — он поднес ко рту сложенные щепотью пальцы и пыхнул на них.— Дым! Какой тут можно убирать урожай?..

Бажуков ответить не успел — выскочил опять Саня Аяков и, вьюня руками, подмигивая, стал частить, что заволжские совхозы всегда были голодным краем, какой тут может быть урожай, но нам-то что за грусть? Что мы — ломаться сюда едем? Лично его так больше волнует загар, Волга и молоко, правда, Натка? Натка, нарядчица из нашего цеха, молча усмехнулась и небрежно, как докучливую муху, стряхнула его руку с ноги. То, что всяк пытался схватить ее за коленку, было ей в привычку, да и коленки, надо сказать, того стоили.

Мимо тянулись чахлые поля, мелькали тонкостволые березовые околки, осинники, а впереди, у самого горизонта, в обесцвеченное жарой небо проткнулась из-за леса серая колоколенка и пошла, заманивая путников, выныривать то справа, то слева от дороги... И когда все уже забыли мимолетный

разговор о здешней земле, озиравшийся кругом Бажуков вдруг сказал, ни к кому, собственно, не обращаясь:

— Да, места тут, должно быть, тощие.

В Юрье-Девичьем остановились на минутку у магазина. Минутка растянулась на полчаса. Только-только подвезли хлеб из пекарни, была очередь. Оказывается, свежий хлеб сюда возили не каждый день.

Впрочем, тут же явилось и развлечение.

Из бокового прогона подкатила телега, запряженная мохнастенькой игреневой кобылкой, а за телегой бежал, прядая ушами, спичконогий рыжий сосунок. Старуха-возница, замотав о передок вожжи, ушла себе с мешком в магазин. Но чуть только скрылась, из-за угла церковной ограды с переливчатым, зазывным ржанием выскочил верховой жеребец, весь белый, в одном только черном носочке на левой передней. Красив он был до чертиков, подскочил этаким фертом, распуша хвост, выгнув шею, и побежка у него была такой легкой, танцующей, что игреневая тотчас же тоненько отозвалась, дернулась, а белый уже нежно покусывал ее за ляжку, и она жалась к нему, шарахаясь, сбивая набок хвост. Телега от этих ласк скрипуче дергалась, оглобли жалобно потрескивали...

— Ишь ты! Ишь как она,— заливался Санька, приседая от восторга,— эдак: я, дескать, и не против, но в служебное время, при исполнении...

Даже Николай и Сергей-химик, глядя на него, рассмеялись: похоже было!

Сухонькая старушка-возница, выскочив на шум из магазина, погрозила жеребцу кулаком: «Ишь, кавалер! Я тебя...» — и тот, как ни странно, отошел, не стал связываться со сварливой бабой.

Когда ехали дальше в Юрятино, только и разговоров было, что об этой лошадиной любви.

— Что странно,— говорил Химик,— так это — какое у нее вымечко такое... Никогда у лошадей не видел.

— Как же! Необходимая же все-таки вещь... А? — подмигивал Саня девчатам.

— Все равно,— Химик смущенно улыбнулся,— не идет как-то: телега и вымечко. Не гармонирует.

— Ну даешь,— засмеялся Саня.— Может, у лошадей и декретный отпуск ввести?

А Бажуков молчал, слушал их, улыбался. От улыбки резкие складки, всю дорогу лежавшие у его губ, раздвигались, как бы подрисовывая снизу острые высоконькие скулы, и тогда думалось, что человек он, в сущности, очень добрый, даже,

пожалуй, робкий от своей доброты. А без улыбки эти складки у губ казались горестно-злыми, жесткими.

2

Под постой нам отвели полузаброшенный клуб. Всего нас было четырнадцать человек, но мужиков только пятеро, и девчата, захватив себе зал, вытеснили нас в бывшую аппаратную или черт ее знает какую, но тесную комнатенку с единственным окном, наполовину забитым фанерой. Втиснуть сюда пять коек было бы мудрено, мы решили просто натаскать сена, и, когда все устроили, руки и шеи наши зудели от сенной трухи и требовали немедленного купания.

Барахтались долго, и, когда выскочили на берег, девчата уже хлопотали вокруг казенного байкового одеяла, на котором стояли консервы и прочая благодать. От вида тщательно промытых и очищенных белых луковок с ярким зеленым пером такой взыграл аппетит — аж скулы у меня заломило!

Закатное солнце почти уже не грело, на ветерке было зябко, и от выпитого винца в груди сразу захорошело, в глаза плеснуло туманной благостной поволокой, сквозь которую вся деревня на юру, и все эти крыши, четко очерченные закатным солнцем, и высокие рябины у клуба, и даже сбегавшие к Волге полузаброшенные развалюшки амбары, сараи — все это показалось не то чтобы уж очень красивым, но теплым какимто, спокойным.

— А хорошо тут, черт возьми! — сказал Бажуков.— Точно тут и родился, а, старички?

Он полулежал, опершись на локти, а Натка рядом сидела, и он все время поглядывал на сильное, гладкое ее бедро с еле заметными золотистыми волосками, и на открытую чуть сбившимся вишневым купальником тонкую полоску другой кожи — запретно белой...

— Хорошо! — снова сказал Бажуков.— И почему это мы, братцы, не живем в деревне! Пляж, воздух... Плесни-ка еще, Санька! — и, приподнимаясь, протягивая кружку, как бы нечаянно положил руку на круглое Наташкино колено.

Она посмотрела на него с эдаким ленивым интересом.

— Бажуко-ов! — сказала нараспев.— Ты что это? Ты ж женатый.

— Где? — Николай с деланным испугом оглянулся.— Когда? Я ж только приехал...

Все засмеялись, даже Наташка ленивенько так хохотнула.

Нельзя сказать, чтоб наша нарядчица была уж очень красивой, но в каждом ее движении сквозила та замедленная,

ленивая женская грация, которая невольно подразумевает некую тайную бурность и потому неотразимо действует на нашего брата. Тут-то понять Бажукова было несложно.

...А потом пришли кони.

Двое чисто белых и один уже знакомый нам жеребец в коротком черном носочке на левой передней. Он бежал впереди, грациозно вскидывая тонкие бабки, а двое других были спутаны, но тоже торопились за ним, неуклюже взбрыкивая и мотая короткими гривами.

— Мамочки! — испуганно сказала Наташка.— Они сюда?

— Не боись,— Бажуков успокоительно погладил ее коленку.— Они не пьют портвейна и не едят килек в томате...

И в самом деле, кони добежали только до пыльной полянки у полуразвалившегося амбара. Белый кавалер понюхал теплую пыль, осторожно лег и вдруг, мощно взбрыкнув всеми ногами, перевалился через спину, и еще раз. И тоненько заржал. В переливах его голоса угадывался тот безотчетно-радостный хохоток, который иногда после трудной смены вызывают у нас теплые душевые струи. Ей-богу, в этом ржании было что-то человеческое, как будто он тоже понимал, что славно поработал и вот теперь — свободен.

— Ах, зараза,— восхищенно сказал Бажуков и даже кулаком по одеялу пристукнул.— Что делает чертяка? А?

— Не говори. Милое дело — почесать спинку...— подхватил Саня Аяков.

Пока кони были далеко, все дурачились по-прежнему. Один только Бажуков словно забыл про соседку и, положив подбородок на сложенные перед собой руки, неотрывно следил, как мощно и свободно перекатывались бугры мышц под белыми лошадиными шкурами.

Между песчаным берегом и амбарами тянулась узкая потовина. Кони потихоньку спускались в нее, хрумая сочную траву, и только тот, первый, в черном носочке, все стоял неподвижно, и его влажные темно-сиреневые глаза были устремлены куда-то за Волгу. Постоял так, посмотрел и двинулся в нашу сторону.

— Мамочки, он сюда! — Наташка вскочила на коленки и ухватилась за плечо Бажукова.

— Чо испугалась? Сядь! — досадливо поморщился он.

Белый шагах в десяти от нас снова повалился на спину и стал кувыркаться, пытаясь потереть о землю какие-то дальние и, видимо, самые чувствительные участки шеи. Девчонки с визгом сбились в стайку у самой воды, мужики тоже встали. Один Бажуков все лежал и все приговаривал:

— Ишь, разыгрался! Ишь, мальчонка!

— Да... Огреет копытом, так порадуешься,— посулила ему Томка.

— Да прогоните же его, мальчики!

Саня сделал шага три и взмахнул курткой.

— Ну, ты! Давай отсюда!

Белый скосил на него глаз и, презрительно фыркнув, перевалился на другой бок.

— Да прогоните же! — снова капризно потребовала Наташка.— Вы ж мужчины!

— А что я ему сделаю? — обиженно спросил Саня.

Все мы были люди к коням непривычные, и, видимо, не побаивался их один Бажуков, но он-то прогонять Белого никак не собирался.

А девчонки все взвизгивали, и белобрысый парень, раздевавшийся шагах в десяти от нас, подхватил длинную хворостину и быстро, молча подойдя, хлестнул Белого по морде. Тот вскочил, недоуменно оглядываясь, и парень, сделав еще шаг, снова жогнул его. Белый, не удостоив его больше ни единым взглядом, высокомерной танцующей походкой двинулся прочь.

— И всего-то делов,— сообщил парень, отшвыривая хворостину.— Вы его не бойтесь. Белый у нас скотина смирная, потому не спутавши и пускают. А вы шефы? Из району?

Девчонки снова заусаживались вокруг одеяла.

— Из Редкина,— сказал Химик,— на три недели. Присаживайтесь. Не хотите за знакомство по маленькой?

— Это можно,— легко согласился белобрысый.— Меня Геннадием зовут. Сам я из району, а сюда на лето пастухом нанялся,— он чему-то засмеялся и покрутил головой.— Курорт! Да еще и два куска в месяц отламываю. А?

Смех у него был пхекающий — точно его за горло держали.

— Тут дачников много, из Москвы даже есть, а все равно скукота,— торопливо сообщал он,— танцы только в Юрье-Девичьем, кино там же. А до вас из району были шефы, так мы с ними время проводили — тик-так!

Общий разговор метнулся в эту сторону — заговорили о деревенских и городских развлечениях, и наш избавитель от конской напасти усиленно выказывал себя человеком везде бывавшим и все повидавшим, а если кто-либо возражал ему или сомневался, он резко поворачивался, вздергивая свою короткую верхнюю губу точно так же, как и тогда, когда шел с прутом жигануть Белого.

Бажуков вдруг поднялся и, отряхнув песок, стал натягивать брюки.

— Ты куда? — спросила Натка.

— Ноги затекли, пройтись надо...

Небо наливалось густой вечерней голубизной, и солнце тонуло за крышами деревни. Внизу, у воды, было уже сумеречно, кони бродили теперь далеко, по самой гриве поросшего люпином холма, и силуэты их виделись четко и плоско, точно вырезанные из серовато-голубой бумаги и наклеенные на золотисто-лимонный фон заката.

Я следил, как Бажуков не спеша поднялся на холм и похлопал Белого по шее, словно говорил: «Что, брат, обиделся, что прогнали? Ну, ничего, не обижайся! Они дурачки...»

Конь, словно соглашаясь с ним, встряхивал головой, и они долго стояли рядом неподвижно, глядя, как медленно оседает и наливается краснотой закат.

Когда Бажуков вернулся, самобраное одеяло уже перекочевало в клуб, у самой воды горел костерок из сухого камыша и плавника и на песчаном уступчике над ним сидел, терзая Санину гитару, наш новый знакомый. Он уже вполне освоился и что-то там пел, а Наташка тихонько подпевала, сидя рядом в накинутой на плечи кофточке.

Бажуков стал впереди и немного сбоку. По его лицу гуляли латунные отблески костра, и оттого казалось, что под скулами и на впалых висках у него перекатывались твердые злые желваки.

«А ведь он его, Генку этого, похоже, невзлюбил,— подумал я.— Вот только за что?» — и эта догадка была мне почему-то неприятна, вызывала досаду.

3

Ну вот. Так и пошла-поехала наша совхозная жизнь.

Томка-повариха будила нас в шесть. Солнце уже стояло довольно высоко, но воздух был влажен, сладок; мы бежали мыться к Волге, и трава на склоне была вся бусая от росы, а над заленившейся водой всходила, колеблясь, рваная кисея тумана.

Кашу с тушенкой ели за длинным дощатым столом под старой рябиной, никнувшей своими зелеными прядями и буро-морковными кистями незрелых ягод. Потом пили горьковатый чай и расходились.

Обедали в час, а в полседьмого за тот же дощатый стол

садились ужинать. В это время в конце прогона обычно показывалось облако пыли и слышались обиженные взмукивания коров, отрывистый лай пастушьей собачонки и охриплый мат старого Артемьича.

Клуб стоял в стороне от прогона, пыль нам не мешала, но Бажуков все равно злился. Особенно, когда показывались последние буренки, а с ними наш новый приятель Генка в огромных рыжих сапогах и лихо заломленной соломенной шляпе. Этот не матерился, как Артемьич, не кричал: «Куды пошли, падлы?» Пыля сапогами, он широким скользящим шагом подбегал к отстававшей животине и с маху бил короткой палкой по самому чувствительному месту, по почкам. И коровы у него знали порядок: не брели как коровы, а плотной рыже-белой пробкой прокатывались по всей деревне.

— Вот паразит! Его бы так гнать! — суживая глаза, буркал Бажуков.

— Ударник,— оправдывал Саня,— торопится...

— Сукины дети так торопятся — вот кто!

— Это ты хорошо сказал,— благодушно улыбался Химик,— почти как у Хемингуэя фраза, ей-богу!

Бажуков озлялся еще больше:

— Иди ты со своим Хемингуэем!..

— А тебе бы только человека охаять,— встревала сидевшая рядом с Химиком Люда Поливода.— Генка парень как парень. Не такой пентюх, как некоторые. А что пастух, так ничего такого...

— Нет,— делая умильную рожицу, сообщал Аяков.— Коля бы так вежливенько их: «Не будете ли вы столь любезны, госпожа корова, позвольте потянуть вас за титьку!..»

Мы дружно ржали, а девушки обзывали Саню дураком, но, впрочем, тоже посмеивались.

И этак через полчасика, когда Томка уже мыла на конце стола посуду, а остальные сидели, покуривая, являлся обычно и сам Генка с мокрой еще шевелюрой, в модной цветастой тенниске навыпуск.

Подходил он всегда с каким-нибудь фортелем, с подмигиванием.

— Девчонки! — кричал, например, издалека.— А я вам змеючку несу... Показать? — и лез к себе за пазуху.

Те взвизгивали, отодвигались.

— Та дуры ж!.. У меня дрессированная. Я на груди ее ношу, у сердца. От пощупай, Саня. Вот туточки... Ну, чего боишься?

И Саня, дурашливо пожимаясь, приподнимал его голубую

в алых маках тенниску, вытаскивал из-за брючного ремня бутылку водки, а Генка, давясь смехом, пояснял:

— Зеленый змий, ядовитость сорок градусов.

Бутылка распивалась, бегали к магазинщице за «подмогой», становилось шумно, выносилась Санина гитара, затевались танцы или споры ни о чем, и Генка чувствовал себя при этом как рыба в воде: размахивал руками, травил про зимние приключения на танцах в районном Доме культуры, про свой неукротимый характер и про то, как зимой, работая бульдозеристом на стройке, зарабатывал по триста рублей.

— А может, по четыреста? — спрашивал Химик.

— Ты чо — не веришь?

— Уж ты загнул, конечно...

— Да? А я не какой-нибудь инженеришка, чтоб за полторы сотни корячиться, понял? У меня двести восемьдесят пять средний вышел.

— Ровно?

— Чего?

— Ровно двести восемьдесят пять или с копейками?

— А иди ты... туда и сюда! Хошь, расчетную принесу?

— Зачем она мне?..

— А, в кусты? Принесу и носом ткну, понял? — горячился Генка и, хоть был еще без расчетной книжки, уже махал перед носом у Химика масластым своим кулаком.

— Ну, завелись... Охота вам? — лениво спрашивала Наташка.

Генка сразу же успокаивался и только бурчал:

— А чего он?.. Тоже мне — фря!

Так-то Генка был человек расторопный, услужливый и беззлобный, но ужас не любил, когда ставили под сомнение его рассказы. Тут он, что называется, лез в бутылку и в глотку готов был вцепиться. А привирал частенько.

Бажуков в самом начале танцев обычно уходил к Волге, сидел на обрывчике, обняв коленки руками, шевелил босыми пальцами и смотрел, как играли, пощипывали траву и пили воду отпущенные под вечер на свободу белые кони.

Иной раз коней отпускали пораньше, когда мы еще ужинали, и тогда Белый подходил к столу, влажно дышал в затылки, и его угощали сахаром и хлебом с солью, и даже девчонки уже не боялись, когда его мягкие замшевые губы подбирали с ладошки куски рафинада. Генка сердито смеялся «с наших слюней» и доказывал, что баловство скотину портит. «Иди, иди,— замахивался он чем-нибудь на Белого,— ишь на чо губу дует...» И Белый, гордо вздернув головой, уходил.

Сумерки потихоньку загустевали, солнце сваливалось за

лес, багрило оттуда синеватые облака, у нашего клуба пустело, утихало, а Бажуков все не трогался со своего обрывчика — ждал, когда кони пройдут на люпинное поле и поднимутся на гребень холма.

Иногда и Химик, раздосадованный бессмысленной перепалкой, уходил к нему и, подгибая под себя полную ногу, тяжело плюхался рядом.

— Вот ведь,— сокрушался,— и не переспоришь его ни в чем. До чего упрям!

— Ты не спорь! — советовал Бажуков, сердито сплевывая сквозь зубы.

— Так ведь врет.

— А ты или не слушай — пусть себе гавчит! — или кулаком по сопатке, и точка. Другого они все равно не понимают. Я таких насквозь знаю!

Химик вздыхал, молчал, потом спрашивал:

— Слушай, Николай, с чего ты такой злой? Ну что ты о нем знаешь?

— Пусть и не знаю, а гаденыша за версту чую.

— Брось... Он, конечно, немного хвастун, немножко брехло, но вообще-то нормальный парень. Не один он такой.

— А ты послушай, чем он все выхваляется. А? Чем?

— Вот те раз. Что считает хорошим, тем и хвастается,— удивлялся Химик,— а чем же еще?

Бажуков не отзывался. Химик вздыхал и говорил, хлопая его по коленке:

— А вообще, Николай, согласись: невзлюбить человека только за то, что у него культурешки мало,— так это неумно...

Бажуков отмалчивался, поплевывая в речку и морщась.

Иногда во время таких-дискуссий и я сиживал с ними, а чаще танцевал или шел со всеми гулять к заброшенному совхозному саду. Со мной под руку шла Люда Поливода, а впереди, этак небрежно бросив на Наташкино плечо руку,— Генка.

4

В сельпо, кроме водки и засохших конфет, почти ничего не было, а совхоз давал нам только картошку, мясо и молоко. Томка шумно бунтовала, и к концу второй недели нас с Бажуковым отрядили в район за продуктами. Приехали мы туда часика в два и очень быстро все закупили, набили рюкзаки и могли бы возвращаться, но Бажукову загорелось звонить в Редкино.

Пошли на почту.

Народу там было немного, мы полюбезничали слегка с телефонисткой, назвали ее лапушкой, Редкино нам дали быстро, да Бажуковой, как назло, не было на месте — «вышла в цех», и Николай ужасно расстроился. То есть он ничего такого не показал, но я его уже знал немножко и поспешил сказать, что времени у нас еще вагон, пусть подождет минут десять и попросит набрать снова...

Он звонил еще раз пять, и все время то «вызвали куда-то», то «вышла», и с каждым разом его лицо делалось все неподвижнее и будто скуластее. А до катера оставались минуты.

— Бог ты мой,— удивлялся я его упорству,— ну, пошли телеграмму, передай через кого-нибудь... Тоже мне проблема в наш век — с женой поговорить!

Он помолчал, потом сказал: «Ладно, не зуди!» — и заказал тот же номер, но теперь уже «кто подойдет».

Когда мы вышли наконец из обшарпанного здания почты и я спросил, все ли в порядке, он ответил коротко: «Да. Все здоровы».

На катер мы, понятное дело, опоздали, и я пошел побродить по городу, попить пивка, а Бажуков остался на дебаркадере, и, когда я вернулся, он все так же сидел, прислонясь спиной к рюкзаку и обхватив руками стрекозино-тощие коленки.

В Юрятино мы вернулись часов только в одиннадцать.

Катерок, скользнув по берегу прожекторным лучом, отвалил, и стало очень темно. Последние дни погода вообще портилась, хмурилась, и сейчас было сплошь наволочно — ни звездочки. Черно, маслянисто поблескивала Волга, а землю заливала такая чернота, что каждый раз, когда я опускал ногу, невольно подкатывал детский страх, что она провалится в какую-то бездну. В самом конце деревни, на магазине, подслеповато желтела единственная лампочка. А тут еще тишина какая-то неестественная — без скрипов, без шуршания листвы и дальнего собачьего бреха.

Мы уже поворачивали к клубу, когда сзади что-то тихо хрупнуло — точно кто-то, изготавливаясь к прыжку, наступил на сухую веточку. Бажуков резко дернулся и метнул туда лучом карманного фонарика. На углу прогона стояла пара. Мужчина заслонился от света длинной рукой, а женщина спрятала лицо за его плечом.

— Это ты, Николай? — спросил Генка.— Да не свети в глаза...

— Прости,— сказал Бажуков, отводя луч.— В темноте померещилось.

— Откуда так поздно?

— Со вторым катером.

— А... Ну, бывай.

Женщина не проронила ни звука, но светлое Наташкино платье было слишком приметно.

В нашей комнатешке было темно и душно, и, раздеваясь, мы то и дело натыкались на тумбочку, на соседей, которые ворочались, не просыпаясь, и сладко чмокали губами.

Потом, когда уже улеглись и установилась чуть шуршащая сеном тишина, я вдруг вспомнил, как сторожко дернулся на треск Бажуков, и подумал, что и он, поди, чувствовал себя в темноте неуютно. Это почему-то мне показалось смешным, и я хмыкнул.

— Ты чего? — спросил Бажуков.

— Чего — чего?

— Смеешься...

— А... В конце прогона,— сказал я, сворачивая на другое,— сеновня больно хороша. Тепло, запашисто...

— Ну? А ты при этом с какой стороны? — зло спросил он.

— Да так... Обидно, знаешь: пока умные делом заняты, все дуракам достается.

Ответил он только минуты через три, когда я уже думал, что он спит.

— Ладно,— сказал вдруг.— Что твое, то другим не достанется, не боись.

Назавтра было все так же тихо, беспросветно наволочно и несколько раз принималось крапать, но — и только. Пыль из-под колес летела высоко, и духота как будто даже усиливалась от туч. К тому же налетела тьма-тьмущая комарья. За ужином мы, как кающиеся грешники, усердно нахлестывали себя по щекам и шеям, и Саня Аяков шипел, делая страшные рожи: «Ишь, гудят, «мессершмитты» проклятые! Я вас!»

Кожа у Сани была нежная. От каждого комариного укуса на ней вспухал этакий розовый бугорочек — как чиришек вскакивал. Поэтому он был особенно зол и не смягчился даже тогда, когда пришел Генка со своей непременной бутылкой.

— Сегодня ты лучше б бутылку «Тайги» принес! — сказал Саня с досадой.— Всю кровь выпили... Грудь затоптали!

— Эка! — объявил Генка.— Мы всё моментом!

Он вскочил на скамью и стал обламывать тонкие рябиновые веточки. Они хрупали в его руках легко, но отдирались только вместе с длинной полоской серой кожицы, и эти ранки на ветках четко белели в сизом воздухе сумерек.

Все почему-то обрадовались, развеселились...

— И мне, Генка, и мне!

Генка старался.

Саня Аяков уже прилаживал на оголившийся сук транзистор, а Генка обмахивал с разными ужимками Наташку, и та улыбалась, как всегда, замедленно и лениво, а Люда Поливода кричала Сане, чтобы он нашел что-нибудь танцевальное или тащил гитару... В общем, все шло по своему кругу, как и в первые дни, только сумерки начинались чуть раньше.

— Пошли-ка лучше на бажуковский бережок,— сказал я Химику,— надоели эти танцы, эти игры надоели...

Бажуков сидел на своем обрывчике.

— Что не танцуешь? — спросил Химик, отдуваясь и валясь рядом с ним на траву.— Такой стройный — и не танцуешь! Или набегался?

— Набегался...

Бажуков помолчал, потом резко, сминая в пальцах окурок, добавил:

— Да и вам удивляюсь: как вы с ним... просто рядом можете?

— Это ты про Генку? — беспечно спросил Химик.— Хороша хмурая Волга, братцы, а? Хороша! Свинцовая такая... У тебя на него зуб, а мы...

— Он мне мерзит! Рука чешется! — Бажуков щелчком отправил в воду смятый окурок.— Ходят такие по земле — красоту портят. И ладно бы из нужды, а то ведь — так, ради мелкого выпендрежа! И мы подхихикиваем.

Мы молчали, оглушенные этой внезапно выплеснутой злобой. Следили, как окурок, покачиваясь на мелкой вечерней волне, приближался к берегу. Когда он коснулся песка, я осторожно спросил:

— Ты Наташку имеешь в виду?

— Чего? — он резко крутнул ко мне лобастую голову.

— Насчет красы...

— Рябину как он обдирал, посмотреть — так сразу видно, какой подонок.

— А...

— Граблистый! — сказал Бажуков и сплюнул.

«Граблистым» называли Генку на ферме, да и по всей деревне, но я считал, что, кроме намека на его длинные руки, ничего в этом особого нет. У Бажукова это прозвучало по-другому.

— М-да, рябину жалко,— сказал Химик.— Но ведь это мы сами... зря позволили. А он — с него что возьмешь? Дитя природы.

— Как же, дитечко! — сказал Бажуков.

Химик длинно и не совсем понятно заговорил о стремлении всякой личности к самоутверждению и о том, что если это принимает уродливые формы, то виновата не сама личность, а то, что ее формирует, и так далее, а сама по себе жажда самоутверждения естественна и неизбежна. Бажуков, по-моему, слушал его плохо, да и я, признаться, с пятого на десятое. Я перебирал в памяти разные знакомые компании, и в любой из них легко представлял себе Генку, он везде бы пришелся ко двору. Что же выходит: все слепые, один Бажуков зрячий?

— Брось ты! — сказал я Бажукову.— Парень он, конечно, хват, да такие везде есть, и, кстати, везде таких любят. Чтоб, знаешь, раз — и квас!

— То-то и худо, что везде! Один бы — так черт с ним, пусть живет,— он замолчал, закуривая новую «беломорину».— А насчет любви... Сам слыхал, как его на ферме любят. Любят?

— Ну... Там-то дело известное: мало молока — пастух виноват. Это как все равно у нас — никто не скажет: я станок поломал, а все приходят: что вы, черти, так плохо чинили?

— Нет, Коля, ты не путем злишься,— мягко сказал Химик.— Ведь ничего плохого ты о нем и не знаешь, сознайся!

— И знать не желаю! А по морде бы с удовольствием съездил!

— Это за сто верст видать,— сказал я.— А все-таки, если вот так, положа руку на сердце, ведь ты все же за Наташку на него злишься? Да ладно, не спорь. Сам ведь глаз на нее положил, а? Хоть и женатый?

Бажуков молчал.

— Да чего уж тут,— сказал я,— все мы по бабьей части не ангелы.

— Иди ты со своей частью...— длинно, витиевато и тоскливо выругался Бажуков.

5

Дня через два или три я был дежурным водяным, то есть перед завтраком должен был привезти Томке воды. Для этого дела у нас была приспособлена четырехведерная молочная фляга, укрепленная проволокой на тележке, и возить воду было совсем не трудно, а таскать ее из колодца еще и весело. Колодец был глубок, и журавль, сделанный из толстого соснового бревна, где-то на середине пути так забавно скрипел, что, если этот скрип записать на магнитофон, никто бы, пожалуй, и не отличил его от заливистого, призывного жеребячьего ржания.

Пока я наливал свою флягу, подошли знакомые женщины с фермы, поздоровались.

— Ишь ты, как он у тебя,— сказала одна, прислушиваясь к мелодичному скрипу журавля, и, помолчав, добавила: — А слыхал, нет, сёдни Белого в Зуевке утопили?

Я уже вытащил полную бадейку и подхватил другой рукой под днище. Она была тяжелой и очень холодной, но я как бы забыл вдруг, что с ней надо делать.

— Как так? — спросил я.— Белого?

— Его, его... Стреноженного пустили в воду, он и утоп.

— Генка энтот граблистый — он погубил.

— Да он-то при чем к лошадям?

— Уж не знаю при чем, а больше некому. Да ты бадью-то давай, что стал... Болты болтать некогда!

Я долил флягу и молча отдал им бадейку.

Дорогой еще пытался уверять себя, что это вранье, но где-то под спудом почти уже знал, что несчастье действительно случилось и что повинен в нем Генка. Вот только если бы спросили о доводах, я, пожалуй, не смог ничего бы сказать, кроме разве того, что уж очень красив и благороден был этот Белый, а ведь это, понятное дело, не довод.

В тот день мы с Бажуковым работали врозь, и как, что и от кого узнал он о гибели Белого — не ведаю. А впрочем: мудрено ли узнать? Я сам за день слушал эту историю раз пять, не меньше, и надо сказать, что Генкина вина не показалась мне столь уж большой. Во всяком случае, с такой... юридической, что ли, точки зрения.

Дело вышло так: старик Артемьич попал в больницу, подменить его было некому, а пёхом, да в одиночку, попробуй-ка кто — побегай за стадом в сто голов! Вот и выделили, так сказать, «транспортное средство». Выгнав стадо на берег Зуевки, Генка завалился под копешку досматривать приятные сны, а стреноженному им «транспорту» вздумалось попить или пощипать травки на том берегу.

Обычно спутанные кони входят в воду с большой осторожностью, но Белый, на свою беду, видимо, не имел подобной опаски. Ну, а нырять и резать повод, когда животное уже бьется, чуя погибель,— дело слишком рискованное. Это, впрочем, признавали и все совхозные. Напирали в основном на то, что стреноживать-де такого коня, как Белый, было ни к чему. Он никогда не убегал и голос понимал лучше любой собаки.

«Да и тово ж Генки...— добавлял одноногий слесарь Забродов.— И я скажу: ежели ты мужик, а не вихлюй, дак ты вперед напои коня, а потом уж стреноживай. А ведь что?

Как он скотина и начальству жаловаться не могёт, так и мордуй его всяко? Так?»

Доводы были шаткие, но мужики все же во всем виноватили Генку, честили его наипоследними словами, и я чувствовал, что возражать им не имело смысла.

За ужином всем было немного не по себе, съели все быстро, в молчании, и в молчании потом сидели, глядя, как Томка моет на краю стола миски.

А Генка как ни в чем не бывало пришел, насвистывая. Сделал общий привет ручкой и весело спросил:

— Ну, братцы-кролики, уничтожим еще одного зеленого, подколодного, а? — и со стуком, с шиком опустил на стол бутылку — дескать, прошу! — А чего так тихо? — спросил.— Поминки, что ли?

— Вроде того! — поерзавши и оглянувшись, отозвался Саня Аяков.— По твоей коняке...

— Да ну! Тоже мне!.. Конечно, скотина глупая и подвела меня здорово. Н-но,— он поднял палец,— не такой Гена человек, чтоб ему всякая скотина навредить могла. Все, старики! Все уже тип-топ и даже лучше. Ну-к, Томчик, посунься чуток...

Он перекинул ногу через скамью, чтобы сесть между Томкой и Людой Поливодой, но Томка не подвинулась, а встала и, прихватив стопку мисок, пошла к клубу. И Люда — за ней.

— Эт вы куда? Приходите скорей! — крикнул Генка.— Я сегодня добрый, потому — гуляю!

Бажуков сидел, сжав пальцами край столешницы, и на его впалых висках твердо были обозначены желваки. Но — молчал.

— Давай-давай, Саня! Открывай! — поторопил Генка.— Я ж ее не стоять поставил.

Саня взял бутылку, повертел, задумчиво рассматривая этикетку.

— Как? — спросил меня.— Тяпнем?

Я не успел ответить. Химик протянул руку:

— Дай-ка сюда...— И бутылка, описав над столом дугу, снова стала перед Генкой.

— Ты чо это?

— Я это то,— сказал Химик,— что нам сегодня не в жилу. Лучше бери бутылку и уходи.

— Чего? — растерянно и в то же время с наглой, издевательской насмешечкой переспросил Генка.— Ишь, указчик отыскался!..

— Указчик...

— А указчику — хрен за щеку. Понял? И сиди, не вякай, тебе все равно не налью. Давай, Саня, тару!

Химик встал, растерянно моргая. Генка принялся обрывать с бутылки станиольку, а Саня вертел в руках кружку, не решаясь ее пододвинуть.

— Я ведь серьезно...— сказал Химик и снова потянулся за бутылкой.

— Да тебе что — шмазь, что ли, сделать? — Генка, кривя и выпячивая нижнюю губу, замахнулся растопыренной пятерней.— Н-ну?!

И тут, как из-под земли, вынырнула Натка и повисла на этой вскинутой руке. Она у нас всегда была на виду, а тут сидела как-то так, что я ее не видел и не слышал... И вдруг — вынырнула!

— Не надо, что вы, чокнулись, что ли,— драться? — бормотала она.— За что? Генка, прошу, слышишь?..

— А чо он лезет? — Генка так резко опустил руку, что Натка ткнулась лицом в его плечо.— Бугор из себя строит! Тоже мне... фря!

— Да никто не строит, они из-за коня расстроились, ну, не хотят и не надо, пошли отсюда, слышишь, пошли...

Он повернулся к ней.

— Вот как? — спросил.— И ты туда же? Расстроились они!.. Такие вы чистенькие, да? — с каждой фразой он как-то толчками приближал к ее лицу свое и понижал голос до свистящего, осиплого шепота.— И ты чистенькая... Жалостливая, да? А хочешь, я про твою жалость,— он поднял растопыренную пятерню и покрутил ею в воздухе,— тоже кое-что порасскажу...

Натка побледнела, губы ее гневливо дрогнули.

— Ну и мразь же ты! — негромко, раздельно сказала она и, резко повернувшись, пошла прочь, а перед Генкой оказался Бажуков. Он стоял, сунув руки в карманы и покачиваясь с носков на пятки.

— Вот как? — опять спросил Генка, обводя всех глазами, белки которых были подернуты мутной сукровицей загнанного, бессильного гнева.— Вот как? Ну ладно, сволочи, жрите! Я вам это припомню!..— и отшвырнул ногой скамейку.— Жрите!!

Он уже был довольно далеко, когда вдруг, как бы очнувшись, вскочил, моргая, Саня Аяков.

— Да вы что — всерьез? Всерьез? — спрашивал всех.— Из-за скотины на человека, да? Сдурели? На друга?..

Подхватив бутылку, он кинулся вслед за приятелем, и мы

видели, как он догнал Генку в конце прогона и они долго там спорили, толкали друг другу в руки эту злосчастную бутылку, и, наконец, пошли куда-то вместе.

Когда я вышел на берег, Бажуков был на своем месте. Я несколько раз прошел мимо, он не окликнул меня, а я что-то не решился заговорить первым.

Погода была скверной. Ветер дергал резко, с присвистом, и по Волге длинными треугольниками вспучивалась свинцовая рябь, по люпинному полю прокатывались полосы шороха и серебристой серости. Там, на самой гриве холма, стояли две белые лошади. Ветер, налетая, встрепывал им хвосты и гривы, но они словно не чувствовали этого в своей сиротской, стылой неподвижности... От Волги на деревню надвигалась подпаленная с краев огромная туча. Она давно задавила бы все своей громадой и мрачностью, погрузила во тьму, но между ней и горизонтом пылала, не сдаваясь, пронзительно-алая полоска заката.

А за холмом, невидимая отсюда, вяло шелестела в своих камышах Зуевка, и ее жадные ерши и окуньки, трусливо спеша насытиться перед грозой, выедали блестящие темно-сиреневые глаза красавца Белого.

...От клуба донеслись шум, крики. Я машинально двинулся туда. На полдороге меня обогнал стремительно шагавший Бажуков.

Шумел Генка.

Они с Саней Аяковым где-то налелькались. Саня пришел первым и долго всем доказывал, что Генку прогнали не по справедливости, потому что он не виноват, а это несчастный случай, так даже в акте написано, хотя за этот акт и пришлось выставить два литра управляющему отделением, но Генка опять-таки не виноват, он веселый парень, поет, играет и никогда на бутылку не жмется, а управляющий сволочь.

Потом появился Генка и стал требовать под окнами, чтобы вышел этот гад очкарик, он-де с ним поговорит, а не то разнесет все в щепки и клуб подожжет.

Химик вышел.

Генка стоял у крыльца с Саниной гитарой наперевес.

— Значит, ты так? — спросил он.— Значит, как Генкину водку жрать, так и инженеру можно? А как у человека несчастный случай, так вали от нас подальше?.. Чо нос морщишь, сука?

— Ты пьян,— сказал Химик.— Иди проспись.

— Пьян? А по роже хочешь?

— Нет,— сказал Химик.— Я тебя прошу: иди спать, завтра поговорим.

— Ну, завтра так завтра, в самом деле: давай завтра...— виновато вьюнил вокруг Аяков, хватая Генку за рукав. Генка вырывался.

— Н-нет, я его сёдни хоть разок шваркну!

Он вскинул гитару, но вышагнувший вперед Бажуков на лету перехватил и сжал его запястье. Пальцы у Бажукова были толстые, с плоскими желтоватыми ногтями.

Секунду стояли неподвижно, и Бажуков смотрел прямо в выпуклые и наглые Генкины светло-голубые глаза. Потом как-то спокойно и вроде бы нечаянно дернул его руку вниз и на себя. Генка ойкнул и присел. Саня проворно подхватил вывалившуюся гитару.

— Ребята, что вы? Ребята, зачем?

— Понял? — коротко спросил Бажуков, отпуская Генкину руку.— Дуй отсюда. Ну?!

Генка попятился, повернулся и как-то по-крабьи, боком, побежал, нелепо взмахивая граблистыми руками. Только у заулка он остановился и прокричал, что все мы гады и нам еще икнется от Генки.

— Еще и вправду подожжет,— улыбаясь, сказал Химик,— ума хватит.

— Не боись, не подожжет. Это ты говоришь: самоутверждение, то-се...— брезгливо вытирая о штаны пальцы, сказал Бажуков,— философию разводишь, а он просто трус, и все от этого... Вот так!

Я очень хорошо запомнил его тогдашнюю усмешечку. Она была почти что доброй. Во всяком случае, обмякшей. Словно какой-то мускул, долго сведенный судорогой и потому наболевший, вдруг отпустил.

— М-да, пожалуй,— Химик почесал щеку, задумчиво глядя в небо.— Гроза будет, а крыша небось протекает... Ну ладно, пошли спать.

Крыша не протекала, но спалось плохо. Всю ночь было слышно, как где-то далеко погромыхивал печальный августовский гром и дождь мягко шуршал о старенькую дранку.

Примерно через неделю после возвращения в Редкино я столкнулся с Бажуковым в чайной. Он был как-то тяжело, молчаливо пьян и ничего не сказал, кроме того, что скоро уезжает. Потом уже, стороной, до меня дошло, что у него и раньше были крупные нелады с женой и что, приехав из совхоза, он тут же стал оформлять развод, а через три месяца

навсегда уехал из нашего поселка куда-то в Сибирь, кажется в Сургут, а впрочем, точно не знаю и врать не хочу.

Дело не в этом.

Меня частенько мучает странное желание крутнуть время вспять, к тому, что уже было однажды. Например, снова оказаться рядом с Бажуковым на юрятинском бережку. Посидеть, потолковать о Химике, о Наташке, а еще — о нем самом, о его собственном горе, которое тогда, в совхозе, мы умудрялись не замечать точно так же, как злую Генкину горлохватность и многие другие вещи... Можно было бы хоть объяснить Бажукову, что, как это ни странно, но мы были не столь уж тупы. Просто нам застило все собственное благодушие, у которого, говорят, вместо глаз узенькие, заплывшие жиром щелочки, видящие не предметы, а только розовое сияние вокруг них.

Да что говорить! Славно было бы посидеть с Бажуковым на бережку, покурить... И чтобы вокруг сгущались теплые сумерки и по зеленому склону бродили и взлягивали от избытка сил и жизни никем еще не погубленные белые кони.

ИНЖЕНЕР ГРИШКАН

Конечно, он и понятия не имел, какую представлял для меня загадку, как много я о нем думал. Мы и знакомы-то не были; тропинки наши пересекались случайно, слегка, и лишь однажды было так, что заговори я с ним — он бы наверняка ответил, да я так и не сумел... Трудно сказать отчего.

На переходном мостике, над рольгангом, я остановился просто так, поскольку никуда не спешил. Есть, знаете, нечто завораживающее в прокатке, когда с гулом несется на тебя стальная змея — мягкая, она еще светится вся глубоким золотым жаром, еще шелушится светло-вишневыми струпьями окалины — и вот уже скользнула под тобой дальше, по ту сторону мостика, и ударная пила, как из засады выскочив из своего водопада, с коротким воем отхватывает первый кусок. Слепящий сноп искр взрывает цеховую полумглу.

В этом вот свете я и увидел его: он стоял внизу, совершенно один — нахохлившийся седой воробышек, ручки в кармашках. Я узнал его тотчас, хотя помнил совсе иным.

Никогда раньше не видел, чтоб он так стоял — совсем один! Правда, я и вообще видел его редко.

У нас в ремонтно-механическом Гришкан появлялся лишь

во время больших перевалок или ремонтов, да и то поздно вечером, даже ночью. Внезапно бухала дверь — он возникал в конце пролета, маленький и стремительный. Цех вздрагивал и замирал в почтительном страхе. Сквозь тяжкий гул станков проступал летящий стук его подкованных полуботинок. Черные полы расстегнутого плаща вздувались и отставали, а за ними, шумно, загнанно дыша в гришкановскую спину, торопились двое-трое, а то и с десяток импозантных мужчин.

Уж не знаю, оповещали ль цеховое начальство об этих визитах, сердцем ли чуяло оно приближенье грозы, но Гришкан со свитой не успевал пробежать и трети пути, как мячиком выкатывался им навстречу наш Аббас Рустамович, что-то поспешно дожевывая и заранее покаянно, преданно прижимая левую руку к полувоенного покроя тужурке. Гришкан, морщась, вслушивался в его клятвы и вдруг нетерпеливо взмахивал выхваченным из кармана кулачком — свита, загнанно дыша, устремлялась в направлении этого взмаха, плутоватый Рустамыч мгновенно оказывался в самых ее тылах и тоже трусил, утирая платочком жирную шею, чрезвычайно довольный, что он уже не пред гневным лицом, а за спиною начальства, где, как известно, гораздо уютней.

Но — бог с ним, с Рустамычем, ничем он не поможет, ничего не прояснит. Тут, как говорится, совсем иной случай.

Вряд ли кто-нибудь еще испытывал подобный душевный трепет просто при виде начальства. Особенно у нас, в большом пролете. Тут были не станки — махины, и такие работали асы, что даже директор, за ручку здороваясь с каждым, изображал самую свою широчайшую, самую сладкую улыбку. Нет, цену себе этот народ знал круто!

Я догадывался: цех замирает и следит за этим шествием не потому, что там главный инженер, а потому что — Гришкан же! Должность этого человека была заметна так же мало, как платье красавицы. И так же невольно притягивал он к себе чужие взоры и ожиданья.

Но — почему, почему?

Есть люди, чья внешность внушает другим совершенно безотчетную симпатию. Ну, тут уж ладно! Это от бога. Но ведь Гришкан был почти что урод. Маленькая, суховато-костистая его головка была всегда заносчиво и брезгливо вскинута, нос трехколенный какой-то, а нижняя губа так мясиста, словно прилеплена по ошибке, наспех. От полного уродства его спасало разве что отдаленное сходство с каким-то быстроногим и благородным животным. Что-то в нем было оленье, сайгачье...

До конца он никого не выслушивал, фразы бросал отрывистые, скрипучие, нетерпеливо фыркал и даже когда молчал, то мясистая губа непроизвольно подергивалась так, будто он с трудом удерживался, чтоб не сказать что-то презрительное, уничтожающее.

И этот вот человек пользовался у всех какими-то особыми правами, потому что он, видите ли, Гришкан! Разве не обидно?

Едва лишь цеховая дверь, ухнув, поддавала под зад последнему из тяжко дышащей гришкановской свиты, все срывались, сбегались к станку, у которого он только что стоял: «Что? Что он сказал? Про кого?»

Я не подходил. Подумаешь, начальничек что-то им вякнул! Мне наплевать! Но и меня не миновало ни единое его слово, кто-нибудь да пересказывал — шепотом почему-то, многозначительно округляя глаза,— хотя по большей части Гришкан говорил вещи давно всем известные: пора-де заменить большой строгальный, на внеплановых ремонтах нужны бы аккордные наряды, Рустамыч наш дурак и трус... В таком вот роде.

И все же каждый раз, когда в конце большого пролета возникала его суворовская фигурка, цех вздрагивал и сердце мое зябко сжималось предчувствием неведомых перемен. Почти презирая себя за это, я вместе со всеми исподтишка ревниво следил за каждым его шагом, взмахом кулачка, поворотом седой головки.

Почему? Среди прочего тут было, наверное, еще и обаянье давней славы, тысячи и одного анекдота о необыкновенном гришкановском уме, хладнокровии и справедливости. Не знать их было у нас нельзя. Они все время кем-то да пересказывались, хотя главные были уже с бородой, тянулись за ним еще из Челябинска. Мы знали их с детства как важные события в тогдашней жизни отцов.

Зимой сорок второго челябинцы решили катать для танков нечто такое, чего нигде в мире еще не катали,— какие-то бандажи или траки, а может, и что-то еще... С ходу это дело не заладилось, а время было серьезное, Москва тотчас подумала: нет ли здесь какого вредительства? Прибывший оттуда товарищ имел три шпалы в петлицах, косую сажень в плечах и такой холодный, пристальный взгляд, что вызванные им разом припоминали все-все о себе нехорошее или же сомнительное, а после беседы в желудке у них долго не таял ледяной ком и пальцы никак не справлялись с газетным квадратиком и махоркой.

Так вот этого товарища Гришкан, рассказывали, выставил. Указал на дверь! Очень просто. Из вальцетокарной, где в углу, за тяжелыми станками, ютился его столик старшего калибровщика. Здесь, заявил Гришкан, распоряжается только он, инженер Гришкан! И отвечает за все он же. Ясно?

Трехшпальный онемел от такой наглости. Смотрел на инженеришку молча и так щурко, словно тот вот-вот должен был исчезнуть с лица земли, растаять. Но взгляд, пред которым бледнели службисты наркоматов, вдруг не сработал. Человечек в детской двухцветной бобочке лишь презрительно шевельнул пухлой губой.

— Извините,— сказал,— мне некогда. Пока не выбраны все припуски, я должен еще раз просмотреть расчеты.— И отвернулся.

— Ну-ну,— смущенно сказал трехшпальный его спине.— Иди гляди. Мы тоже... посмотрим.

Неизвестно, что бы из этого вышло. Грозные товарищи не любят смущаться прилюдно. Но через сутки дело с прокаткой пошло, а потом еще и Государственной премией обернулось. Инженер-калибровщик Гришкан был в самом конце лауреатского списка. Впрочем, что премия! Вот то, как он, ничуть не смутившись, выставил за дверь грозного проверяющего, было для моего бати любимой легендой о неслыханной смелости и дьявольском, необъяснимом везенье. Гришкан был для него полубогом.

А для меня? В ту пору мне было едва семнадцать, и уже по одной этой причине события шестнадцатилетней давности мне не казались столь важными и убедительными. Я был уверен, что и сам, случись, повел бы себя с трехшпальным ничуть не хуже. Да что! Я б ему такое высказал!..

За что же мне было любить Гришкана? За что прощать ему брезгливую губу, взмахи игрушечного кулачка и ту готовность немедленно все исправить и исправиться, что проступала на лицах у всех, едва он возникал на пороге?

Нет, я его не любил. Он оскорблял мою гордость. После каждого его визита в наш цех мне становилось так муторно, что я с трудом дотягивал до конца смены.

Потом шагал домой, сунув тайком от себя кулаки в карманы, то и дело принимаясь почти бежать, чтоб взвихрились полы плаща. Обдуваемая ледяным ветром моя голова горела от обилия мыслей и быстроты сменявшихся картин. То всей спиной чувствовал я дыхание загнанной свиты, эхо шагов летело за мной пустыми дворами, словно шепоток тревожного любопытства: «Что? Что он сказал?..» — и смутно проступала вдали какая-то толпа... То вдруг, спохватившись, я вспоми-

нал, что не люблю начальства и вообще сам по себе,— тогда начинал представлять, как подходит Гришкан к моему станку, что-то мне говорит... Ну, не важно что! Главное, я слушаю его спокойно и холодно.

— Все? — спрашиваю.— Извините, я обойдусь без ваших советов.

— Как? — возмущается он.— Мальчишка!

— Ах, вам не нравится? Так вот, как говорится, моя фреза, и работайте сами!

Я был при этом высок и широкоплеч, как сам Маяковский. «Что? Что он ему сказал? — шумело вокруг.— Как?! Гришкану?!» И опять какая-то толпа возникала в сумрачных створах безлюдных улиц.

...Я вот о чем сейчас думаю: почему именно в начале юности так сильно влечет нас и раздражает чужая власть и слава?

В ту пору был жив отец, жил еще с нами, еще сестры не разлетелись, школьные друзья были рядом, соседские девчонки поглядывали так ласково... Круг любви и тепла ближних моих был до того плотен, что я почти не догадывался о его хрупкости. Он был само собой разумеющимся, вечным, пресным и обязательным, как хлеб. Но та жажда любви, которая вызревала во мне, рвала меня прочь из этого круга — к дальним, неведомым, безымянным. Не оттого ль и возник он на душевном моем горизонте — этот Гришкан?

Конечно, мне тогда б и в голову не пришло, что властный и сугубо, неприятно деловой старик имеет какое-то отношение к любви. Тогда... Но теперь-то я знаю, что и власть, и слава, и любое дело, и то, что мы слишком возвышенно именуем призваньем,— все от одного корешка. И самая глубинная его суть — все та же жажда любви далеких и безымянных, которая и гонит нас ранней юностью прочь из круга родных.

Так, может, природа все это так и предусмотрела? И жажда славы и власти совсем не случайно сильнее всего в нас тогда, когда пора покидать гнездовое тепло и нести накопленный жар крови дальше, в люди?.. Ведь человек приходит в сей мир, чтобы создать свой круг любви, широкий, как можно шире! А бесконечность этого круга не есть ли уже власть и слава?..

Я так долго воображал стычку свою с Гришканом, такие готовил фразы, так был уверен, что окажусь в ней и прав, и храбр, что когда она действительно произошла...

Впрочем, какая там стычка! Он просто стоял совсем

рядом, возле Левки-долбежника, а я как раз прилаживался прорезать шпонку в трансмиссионном вале. Хитрость этой работы в том, что вал раза в четыре длиннее станка. Раньше их резали лишь на большом расточном, и я очень гордился,— и меня все хвалили! — что взял это дело на себя, приспособив под свисающий конец вала монтажный домкрат на колесиках. Конечно, пока врезаешься, приходится то и дело бегать от станка к домкрату, выравнивая вал по уровню, но...

Уже двинувшись к выходу, Гришкан вдруг сделал шаг в сторону, ко мне:

— Зажми стол! — выкрикнул петушком.— И шпинделем подавай, шпинделем.

Я гордо выпрямился:

— Обойдусь...

И осекся, потому что — какой же я идиот! Господи! Конечно... Мучаюсь, за полсмены едва пару валов сделал, а все, оказывается, так просто. Элементарно, идиотски просто!

— Что он тебе сказал? — подскочил Мишка Шейдабеков.

— Что все мы кретины! Понятно? — сжимая кулаки, выкрикнул я и кинулся прочь, на улицу. Мне нужно было немедленно оказаться вне этих стен, хлебнуть влажной тьмы и там, в тишине, как-то примирить свою гордость со всем происшедшим. Оно как бы нечто во мне прищемило; эта боль долго жила, затухая, в горестном и не слишком похвальном недоуменье: как же это я так и не сказал заготовленной фразы? Пусть трижды был бы не прав, а надо, надо было сказать! А так — что ж я теперь, как же я?..

Это был едва ль не последний гришкановский визит в наш цех. Его перевели куда-то выше, в главк, или — что там тогда было? Кажется, уже совнархозы, точно не помню... А вскоре и мои жизненные стези сменились, сталкиваться нам как бы не полагалось уже, но судьба иногда странным образом подолгу кружит нас вокруг одних и тех же людей, подталкивая к ним, на что-то нам намекая...

Лет через пять я увидел Гришкана при пуске нового цеха высадки.

Репортаж об этом событии был первым поручением, данным мне республиканской газетой. Я очень этим гордился, суетился и возносился. Настолько, что, увидев Гришкана, тут же решил взять у него какое-нибудь интервью. Должности его толком не знал, понятия не имел, о чем спрашивать, и,

как теперь понимаю, мне просто хотелось предстать перед ним в новом качестве, что было крайне, конечно, глупо, ибо он не помнил меня в старом.

Переходный мостик у главной клети стана был превращен в трибуну — там и стоял Гришкан, как всегда на полшага впереди всех, хотя начальство было и повыше. Нижняя губа его стала еще тяжелей, подергивалась еще презрительней. Казалось, он еле сдерживался, чтобы не плюнуть и не уйти.

Торжество и в самом деле срывалось. Подводил манипулятор. Накануне, при горячем опробовании, работал он здорово, а тут вдруг заколодило. Наладчики из бригады Левы Савицкого вертелись вокруг, как черти на сковородке.

Сам Левка, сбив с потного лба оранжевую каску, сидел на корточках перед распахнутым железным шкафом, в котором исправно щелкали и голубовато искрили сотни реле, и всматривался в их стройные ряды, ничего уже, видимо, не соображая.

— Савицкий! — скрежетнул вдруг под сводами гришкановский голос.— У вас, мне кажется...

Дальше я ничего не понял. Но зато видел, как медленно разгибался Левка, придерживая рукой затекшую поясницу... Левкина бригада монтировала электронику по всему Союзу, он был в своем деле далеко не пацан, но недоуменье и детская обида проступили в его вдруг обмякших губах. Я без труда читал свой собственный, давний вопрос: если это так просто, то как же я сам не дотумкал, как?!

Брать у Гришкана интервью мне расхотелось.

А потом прошло еще лет пятнадцать, и снова оказавшись на родном заводе, я неожиданно увидел старика без свиты, совсем одного. Узнал его и замер, дожидаясь лишь следующей вспышки, чтобы удостовериться наверняка и тотчас же подойти. Ведь так интересно!..

Пила снова выбросила сноп искр, это был он, вне всяких сомнений! У меня уже и фраза на языке вертелась:

— Я, видите ли,— хотелось сказать, подойдя,— один из тех болванов, кому вы когда-то объясняли, какие они болваны.

Ну и дальше, как разговор повернется... Но я почему-то остался стоять.

И опять пила выхватила его из тьмы — все такого же прямого, высоко откинувшего гордую сухую головку. Мясистая губа презрительно шевелилась, но что-то мне померещилось в ней верблюжье, долготерпеливое.

Верблюд — он тоже смотрит на мир свысока. Ни воспарить, ни терзать, ни гнать, как орлу, ему не дано, а глядит так же презрительно и устало, и ведь, пожалуй, с не меньшим правом, ибо может всегда смолчать, вытерпеть, дошагать. Тут в сущности сходятся какие-то странные, таинственные крайности жизни. Я невольно задумался о них, щурясь на сизоватое марево в конце пролета, где, медленно вращаясь на скошенных роликах, выпрямлялись и, серея, остывали стальные колбасы.

Когда, очнувшись, сошел я вниз, Гришкана уже нигде поблизости не было. Я испытал досаду и облегчение.

Но упрямая судьба свела нас еще, денька через три. Правда, тут уж заговорить было б труднее, но все-таки...

Накануне мы маленько гульнули с Толею Козаченко, когда-то токарем нашего ремонтно-механического, а ныне начальником сортопрокатки. Приятный вышел такой вечерок, и, снова шагая к Толе, я предвкушал шутливый, благодушнейший разбор малых мужских шалостей: кто как вчера добрался, да утречком подлечился, да как на кого пошумели...

Приоткрыв дверь кабинета, я было остановился — там кто-то сидел. Но Толя радостно закивал, замахал мне рукою: заходи, мол, заходи... Из-за стола торопливо поднялся.

— Извините,— сказал,— Юрий Давыдович, у меня встреча назначена.

Сидевший перед столом Гришкан чуть повернулся и скользнул по мне взглядом, лишенным всякого интереса. Просто убедился: пришли уже, да. И взялся за подлокотники кресла, чтоб встать.

— Так короче,— спросил,— что вы решаете? Нет?

— Я не рублю на корню, Юрий Давыдович, вы меня знаете, но...— Толя развел руками.— Обсудим на совете бригадиров, подумаем. Подумаем, Юрий Давыдович!

— Думайте! — Гришкан поднялся и, не прощаясь, вскинув седую головку, пошел к двери.

Я поспешно уступил дорогу. В профиль верблюжье в нем было особенно заметно.

Дверь хлопнула, и Толя картинно упал в кресло:

— Уф! Прям спас ты меня, старичок. Беда эти пенсионеры,— сказал сокрушенно,— сущее наказанье. Ходит тут, ходит, хуже прокурора. Придумал вот: все планово-распределительное бюро перестроить. А ради чего? Я тебя спрашиваю: ради чего?..

— Сильно он постарел,— сказал я.— А кем он теперь?

— Никем, слава богу! Лет семь, как никем, на пенсии...

— Вот как? А ведь был где-то там,— я помотал рукой над головой.

— Был, да сплыл. Черт его к нам принес. На пенсию вышел и заявился: желает тут поселиться, надеется быть полезен. Квартиру ему дали, пропуск выписали... Зачем только? Я тебя спрашиваю: зачем? Создаем себе трудности по доброте душевной.— Толя встал и нервно прошелся по кабинету.— Он, видишь ли, душу вложил в этот завод! Ах-ах! Так что ж теперь — из меня душу вынуть? А старичина клещом, понимаешь, вцепился, записку директору, в народный контроль... И хоть бы по делу! А то — на адъюстаже сорок тонн затерялось, ах-ах! И что — при нем, скажешь, не водилось такое? А, ладно!..— Толя обиженно отвернулся к окну.

Глядя в его спину, я думал, что ведь и сам когда-то хотел, до дрожи душевной мечтал того же Гришкана срезать, оборвать, попросту ему нахамить... Ведь было? Было, не отрекаюсь. Зачем же теперь так мне неловко, что старику вежливо указали на дверь? Отчего стыдно? Почему Толькины жалобы вызывают лишь неприязнь? «Нет,— внушал я его спине,— нет, так не годится, ты должен сказать о старике еще что-то другое, совсем-совсем другое...» Он повернулся и сказал. Да снова не то.

— А все потому,— сказал он,— что внуков нет. Точно! Когда-то за великими своими делами этого простейшего старичок не успел, вот и... Охо-хо! Да и мы, дураки, все ищем чего-то, сходимся, расходимся, та баба, эта, свобода, карьера, ё-моё... А старость в одночасье нас по балде — бац! И будем такими же вот... Да?

Я смотрел на него — лицо и в самом деле уже немолодое, на висках седина, а женился совсем недавно, в третий, кажется, раз, и вчера, видать, некстати поссорился, попало ему за нашу гульбу, теперь вот досадно, хотя этого он, конечно, не скажет... Смотрел так и думал, что надо бы пожалеть мужика, сказать: плюнь, мол, не бери в голову! И рот уж раскрыл, чтоб это сказать...

— Нет,— сказал,— Толя! Если и будем мы одинокими старичками, то уж никак не такими. Такими быть у нас хысту не хватит. Знаешь, есть такое отличное украинское слово — хыст? А в нем тебе и кураж, и хватка, и смелость, и все такое...

Он огрызнулся:

— Понятия не имею!

Ну вот... Умер Гришкан года через полтора.

Принесла почтальонка пенсию, ей не открывают, она зво-

нит, звонит... А старичок был обходительный, всегда ждал ее аккуратно, дважды бегать не заставлял — она и заподозрила неладное. Привела милицию, взломали замок, а он тут же, возле двери, вытянулся. Бидончик откатился в угол прихожей, молоко уже высохло.

Ужас ли смертного этого одиночества всколыхнул городок, старое ль вспомнилось людям — похороны вышли невиданно многолюдные, торжественные. Толя Козаченко прислал фотографию: идут во всю ширину мостовой, хвост печального шествия теряется вдали, сливаясь с осенним деньком.

Есть у меня и еще снимок — сам щелкнул когда-то, на митинге в цехе высадки. Гришкан стоит там, как капитан, на мостике, рядом полно народу, но он отдельно от всех. Мясистая нижняя губа презрительно сдвинулась, детские кулачки в кармашках...

Давным-давно отношусь я спокойно к чужой власти и славе, молодые мечты бесследно отшумели и канули, но иногда я ставлю перед собою два снимка и, подолгу вглядываясь в них, гадаю о тайне этого человека, которому я так завидовал, которого так жалел...

МАЭСТРО ШАХБАЗОВ

1

Дней десять мотались по трассе, никак было в поселок не вырваться. Простыли оба, устали, даже пооборвались. И вот наконец едем. Дорога скучная. Плоская степь измызгана бесконечным дождем, в огромных лужах сор и серая пена. И вдруг... Я чуть не подпрыгнул:

— Сашка! Тормози, человека вижу!

В степи человеком именуют лишь женщину, существо экзотическое. Но Русачков до того, видать, простыл и умаялся, что только красным носиком хлюпнул. Без всякого интереса.

— Как бы их на первой же ухабине двое не стало,— говорит он чуть погодя, приглядевшись к маячившей у развилки фигуре.— Роды принимать ты будешь?

Но, само собой, тормознул. Девушка невысокая, толстенькая, в светлом плаще, платочке, с чемоданчиком... Ну, чемодан ее мне пришлось на колени взять. У нас на заднем сидении

движок от «Андижанца» ехал и книг шесть пачек. Еле она туда со своим животиком сама втиснулась.

Едем, я ее в зеркальце заднего вида разглядываю: на носу веснушки, волосы из-под платочка какие-то блеклые... Все же если б не так сильно беременная, то о мире и дружбе заговорить вполне можно. А так — молча едем. Ближе к поселку Русачков спрашивает:

— Так куда вас подбросить?

Она улыбается:

— К гостинице, пожалуйста,— без всякого говорит юмора.

— Куда?!

— К гостинице.

Русачков так тормознул, что я чуть ветровое стекло не клюнул.

— Слушай,— говорит,— ты откуда взялась, умная?

— К жениху приехала.

— Это,— он говорит,— хоть к полюбовнику, мне-то что! А вот вызов у тебя чей, от какой организации?

Грубо, конечно. Но Сашку тоже понять надо. Март для механика не время, а гроб с музыкой. Солончаки раскисают, тяжелое глинистое тесто пустыни ползет, пластами наматываясь на колеса и гусеницы; лопаются тросовые жилы, скручиваются стальные пальцы, в дым горят фрикционы... Тут разозлишься! Он эти дни одной, может, злостью-то и держался, чтоб не завыть. Но девушка ничего этого, понятно, не знает, помаргивает на него растерянно и обиженно:

— Какой еще вам вызов? Мне надо — вот я и приехала,— пухлые свои распустила, вот-вот в слезы кинется.

Ну, стал я ей как можно мягче: ты, мол, не обижайся, ты пойми: у нас зона режимная, сюда и билетов без вызова не продают, а ты прилетела — не на этом же вот чемоданчике?

— На самолете...

— Ну? Значит, вызов-то у тебя есть?

— Дак, а че? — все она помаргивает.— Не люди у вас разве? Везде люди! Я в Махачкале одной девушке все как есть объяснила, она и дала билет, дело-то вполне человеческое,— и живот свой сквозь плащ оглаживает: вот, мол, какие могут быть сомнения?

— А жених,— говорю,— тебя, выходит, не только не встретил, но и не вызывал? Хорош гусь!

— Так он же не знает, что я еду! А то б он тут... Он у меня такой! — она оживилась, улыбнулась, даже волосы под косынку убрала как-то кокетливо.

Выяснили: жених ее, оказывается, думает, будто ей здесь

жить негде и вообще тяжело, но она не барыня и дома жила не то чтоб в хоромах, да и братья насоветовали: что, мол, человеку на свет без отца являться? Не война же у нас, верчо?

— Само,— говорю,— собой. А какой он хоть с виду? Может, мы его знаем?

— Он у меня армянин,— говорит с гордостью.— А тут у вас целому заводу начальник, только забыла, как называется.

— Армянин, значит? — Русачков мне в зеркальце подмигивает: влипли, мол, с дурой...— Черный такой? С усами?

— С усами...

— Брехло он у тебя с усами! У нас тут и заводов-то никаких нет!

— Как нет?

— А вот так! Не построили еще! Надул он тебя. Элементарно надул и удрал. И давай-ка сдадим мы тебя в милицию — пусть назад отправляет. Чтоб ты уши пред каждым треплом не развешивала, ясно?

Пассажирка наша рот приоткрыла — кругло так, глупо — да в рев!

— Высадите меня! — кричит.— Права не имеете, паразиты! — и ручку на дверке шарит, рвет на себя.

— Сашка, стой! — говорю.— Не дело так...

Выскочил прямо в лужу и силой ее в машине придерживаю, дверку открыть не даю.

— Пойми ты! — кричу.— Куда тебя тут высаживать? Дождь, гляди, грязь, до поселка чуть не пять километров, трубовозы сегодня не ходят — сама пропадешь и ребенка загубишь.

А погодка действительно... Так и хлещет! Ну, малость она обмякла, отошла, я ей чайку налил из термоса: попей, говорю, а то и не разобрать, что ты там сквозь икоту бормочешь. В милицию тебя не сдадим, успокойся! Только пойми, пожалуйста, ведь тебя без вызова ни в одну общагу и переночевать не пустят. К жениху — так когда ты его найдешь, да и стоит ли искать такого? Ты меня извини, конечно, да ведь явно надул тебя, паразит — нет у нас никаких заводов.

Она уперлась: не мог ее жених обмануть, и все! Она его давно знает и никакая не дурочка, а раньше не расписались оттого, что ему еще паспорт менять надо. Вот, пишет, как только поменяю...

— А зачем? — Русачков допытывается.

— Чего — зачем?

— Паспорт менять. После заключения он у тебя, что ли?

Нет, говорит, сами вы зэки, а он просто по паспорту русский, а на самом деле армянин, ему во время войны все неправильно записали. Если сейчас не сменять, так и сына русским запишут, а он после стройки хочет на родину ехать.

Я слушаю ее, киваю.

— В горы,— бормочу машинально.— В самые синие горы, к голубому озеру Севан.

— Точно,— она говорит.— К озеру.

— Фамилия его хоть как? — Русачков требует.

— Еще чего! Так я вам и сказала! Сама найду, обойдусь.

— Саша,— говорю,— свезем девушку в поселок, куда хочет. Только ты мимо СУ-15 поезжай, заглянем.

— Зачем еще?

— Да есть тут у меня одно подозреньице.

Пассажирка опять рот приоткрыла кругло, но я ей сразу:

— Успокойся,— говорю,— успокойся... Подозренье не на тебя, а на одного крокодила. А в милицию, будь я жаба, а не матрос, ежели сдадим! Веришь?

Она вздохнула доверчивей, щеки утерла, и мы поехали.

Приезжаем в родное хозяйство — как раз Маэстро Шахбазов у разобранного бульдозера руками машет, публику под дождем потешает.

— Маэстро! — кричу.

Он оглянулся.

— А! — говорит.— Журнал! Здорово, змей! Вот хоть ты им объясни: у нас тут не завод, конички не...— И, рот приоткрыв, пятится от меня, пятится, на гусеницу садится.— Ёшеньки! — говорит.

А девушка из-за моей спины прямо светлым своим плащиком да к его комбинезону:

— Коленька! Коля!

Он черные свои лапищи в стороны развел, чтобы ее не испачкать, бормочет смущенно:

— Ну ты даешь, ёшки, как ты сюда?

— Подвезли вот. Я им про тебя все объяснила, они и подвезли. Что ж, не люди у вас, что ли? Подвезли... Ты, Коленька, главное, не ругайся, ты послушай. И у вас тут люди, все утрясется, дело человеческое, чего тут... Ну? Не бойся ты, ну? — и гладит его по щеке, как маленького, и улыбается, платочком масляное пятно на лбу его утирает.

— Поехали,— говорит мне Русачков,— поехали, на чужое смотреть — только расстраиваться.

Еще минуточку потоптались да и поехали.

Дорогой Русачков спрашивает:

— Как же это ты его вычислил?
— Маэстро-то? Не знаю... Подумалось вдруг.
— А он, однако, ну и брехло! Прям-таки собачье.
— Почему?
— Привет! А я, что ли, мозги ей запудрил: директор, мол, завода, армянин, фити-мити... Ну, шут гороховый!

2

Русачков был всегда беспощадно логичен: соврал ты — значит, брехло. Струсил — трус, обманул — обманщик. О других людях, может, и можно судить эдак, но к нашему маэстро это как-то... То есть брехло он был еще то! Это точно! И само собой, шут. Но вот — клянусь! — не так уж много довелось мне встретить людей серьезней его и честнее.

Тою весной мы были знакомы уже больше года. На стройке это, скажу вам, срок.

Познакомились оригинально! Ремонтная база, куда нас направили, оказалась просто огромным двором, забитым покуроченной техникой. В одном конце его пряталась землянократия, там сидело начальство, в другом — приземистый барак из дикого камня, в который нас и завели: с улицы темновато, пусто, у окон станочки... Вдруг за спиной как гаркнут:

— Подведите их ближе!

Обернулись — этакая фигура восседает на верстаке, поджав по-турецки ноги. В одной руке кружка, в другой — целый батон, кусищем колбасы прослоенный. И жует страшно, аж уши шевелятся под солдатскою мятой панамкой.

— Ближе! — хрипит,— смелее. Живых не кусаю!

— Коля, — смущенно как-то говорит нас приведший товарищ,— это, сам понимаешь, кадры...

— Кадры? Ты уверен, что они не из детсада сбежали, а? И что их мамы, рыдая, не прилетят с Большой земли завтра? Уверен? Ладно! — вскочив прямо на верстаке на ноги и чуть не потолка касаясь мятой панамкой, фигура повелительно указала батоном на дверь: — Вы свободны!

Приведший нас пожал плечами и вышел.

— Отныне для вас я один и царь, и бог, и воинский начальник. Ясно? — Фигура размашисто нас перекрестила.— Аминь! Должность моя тут мастер, но я не любитель низкопоклонства и потому зовите меня просто: Маэстро Шахбазов!

Он спрыгнул на пол и спросил другим голосом:

— Жрать желаете?

Мы желали. За полдня хождения по инстанциям никто не удосужился подсказать нам, где тут столовая. Спрашивать же казалось неудобным — строить мы приехали или набивать желудки?

Этот батон с колбасой немного все сгладил и скрасил, а то мы совсем прибалдевши стояли. Мы ехали строить, закладывать основы и забивать колышки. На Большой земле нам так много и так торжественно о том говорилось, так все обставлялось значительно — проводы, напутствия... А приехали и — на тебе!

Так что приглядываться к маэстро начал я, можно сказать, по независящим от меня обстоятельствам — как-никак начальство. Хоть и маленькое, да свое. И нужно как-то понимать, что за человек. Ведь так? Да вот, оказывается, легко составить собственное мнение, если уже есть чужое. Ты с ним или соглашаешься, или споришь. А тут я как раз этого вот чужого, всеобщего мнения о нашем маэстро никак уловить и не мог.

С одной стороны, он был вроде бы признанной головою, авторитетом, с другой — шутом. Но у шута — какой же авторитет? С одной стороны, никто ему был не указ, начальника базы Сидорчука он не видел в упор; с другой — последний трактористишка мог им вертеть как угодно, нащупав какую-то слабость, а слабостей у него было — что блох у Бобика. Все знали: Колькино слово — железо, и тут же — ни единому его слову не верили.

Когда он, стуча кулаком в гулкую грудь: «Вот будь я жаба, а не матрос!» — клялся, что нельзя у нас сделать какую-нибудь муфту или шестерню (а много ли можно сделать в примитивной кузне, да на четырех станочках?), то все почему-то были уверены, что он врет, паясничает, и упрямо бубнили: за ними, мол, не заржавеет, пусть он не думает... С утра кто-нибудь обязательно поджидал его у ворот, скромно пряча за пазухой поллитровку. (Что дураку сухой закон, ежели ему сто верст не крюк?) Целыми днями, бывало, таскались за ним, канючили, душу мотали. Он отбивался шуточками, потом, шваркнув панамкою оземь, выхватывал вдруг посудину и бежал в землянку к Сидорчуку.

— Во, змей,— кричал там,— распустил народ, понимаешь! Они мне уже взятки суют!..

— А ты не бери,— почти не шевелясь, лениво цедил тот.— Зачем взял?

И все, кто сидел в кабинетике, заходились жеребячьим ржаньем.

Он был обидчив, но обиды, как и гнев, шуту не по чину, а потому они никем не принимались всерьез. Тракторист, посрамленный с утра при попытке дать взятку, через час, явно кем-то подученный, являлся к нам за справкой:

— Сегодня он кто? Шахбазянц?

— С утра был Шах-Аббасом-оглу, турком.

Среди множества слабостей, впившихся в бедную шкуру маэстро, эта, пожалуй, свербила чаще других. Фамилию свою перекраивал он с той же легкостью и изобретательностью, что модница платье. Вдруг начинал, к примеру, говорить с грузинским акцентом, рассказывать об отце-виноделе, усиленно демонстрировать бурную горскую кровь, даже заменял вечную свою солдатскую панамку на бог весть где раздобытую шапочку-сванку. Но проходило несколько дней, и когда кто-нибудь, чтоб подольститься, говорил, сладко прижимая руку к груди:

— О, Шахбазидзе, я вас просидзе...

— Как?! — вдруг взрывался Маэстро.— Как ты сказал! Шарабанов я! Смоленские мы, понял?

Уследить, когда и почему в его сдвинутых набекрень мозгах происходило это превращение, было трудно. Многие, однако, пытались, ибо стоило попасть в точку, как щербатый его рот растягивался аж до ушей в самодовольнейшей улыбке и он готов был в лепешку разбиться, чтоб только услужить отгадчику.

Были, впрочем, и другие способы сесть на Маэстрову шею. Достаточно было прийти в обед со своим термозком, сесть у печки, сказать первым делом, что ты сирота и потому обижать тебя не годится. Вот у вас в детдоме...

Все знали, что это вранье. Какой там детдом, ежели человек вчера только посылкой от мамки хвастался? Один Маэстро с неизменной доверчивостью глотал наживку: «А вот в нашем детдоме...» Начинал он с чего-то безобидного и, вероятно, действительно бывшего, но затем капризное воображение распалялось, родители новоявленного турка оказывались армянами из города Степанакерт, мчался под бомбами, увозя их с Украины, эшелон, визжали тормоза, горели вагоны, «мессершмитты» заходили в пике...

Тут было множество вариаций, красочных подробностей, но кончалось неизменно тем, что фамилию и имя пятилетнего раненого записывали со слов еле бормочущей соседки, естественно перевирая и тем самым навсегда лишая великий народ его лучшего сына.

Все щеки, туго набитые еле сдерживаемым смехом, разом лопались, мастерская минут пять лежала, дрыгая ногами,

потом наперебой кидалась уличать Маэстро в воровстве эпизодов из книг и фильмов, издевательски выспрашивать подробности. Он обижался, он защищался, вскакивал, бия себя кулаком в грудь: «Да будь я жаба, а не матрос!» И только затеявший все это должен был слушать внимательно, вздыхать сочувственно.

— Ладно! — говорил Маэстро, тронутый такою преданностью и солидарностью.— Оставь, я погляжу.

Трактористишка мгновенно истаивал, положив на верстак свою железяку.

Остаток дня Маэстро, то и дело проходя мимо нее, морщился, мрачнел, скучнел...

— Видал-миндал? — спрашивал наконец кого-нибудь из нас с тяжким вздохом.— Видал, что этот змей мне подсунул?

— Наплюй! — строго говорили ему.— Не приучай, совсем на голову сядут.

Он отходил, подходил, вздыхал:

— Эт ты прав,— соглашался,— сядут, ёшки! Да ведь она мне ночью приснится, подлая! Что я — себя не знаю? Давай останемся чуток, похимичим. Ладно уж, пусть пьют нашу кровь!

И оставался, и в конце концов действительно что-то придумывал, какой-нибудь хитрый резец, который тут же сам и ковал, или оправку, позволявшую долбить шлицы на строгальном, или еще что-нибудь.

Другой бы это рацпредложеньем оформил, носился бы, кудахтал, получал похвалы и премии, а он... Нет, смех смехом, а иной раз ужасно было обидно, что все ездят на нем так безжалостно, да еще и издеваясь. Ведь он был талант, настоящий талант, а разве так должны держать себя таланты? Разве так мало себя ценить? Ронять себя по таким дурацким поводам? Выставлять на посмешище?..

— Чего? — тянул он в ответ на мои наставления.— Не учи дядю жить, салага! Чего они тут без меня видят? Одна киношка, да и в той непродых. А смех — он легкие прочищает, ясно?

Ну? Что с ним было говорить после этого?

3

Мы ждали лета, как манны небесной. Но оказалось, что зима на нашем полуострове еще и ничего, а вот лето... Степь отцвела и выгорела за несколько недель, с середины июня начало задувать.

Горизонт с утра задергивало желтоватою мутью. Воздух становился так сух, что колом входил в горло. К концу работы он был полон мельчайшей, крепко просоленной глинистой пыли, мгновенно схватывавшейся на губах черною коркой. Солнце почти исчезало, делались сумерки, и казалось, что не ветер, а вся земля гудит, вздрагивает и воет от тоски и непомерного напряжения. Пучки сухой травы и шары перекати-поля с жалобным визгом неслись над землею. Сухой горчащий запах древних могильников проникал во все щели.

Как-то я работал во вторую, один. Вслушиваясь в застенный вой, думал, что придется ночевать тут же, на верстаке. Жутко, правда, как заживо похороненному, но... Не идти же?

Вдруг хлопает дверь и через порог вваливается сварочная брезентуха с тряпочным кляпом вместо головы на плечах.

— Вольно! — хрипит.— Отставить туш и всякое низкопоклонство.

— Маэстро!

Закрыл я за ним дверь, рубашку помог размотать с головы...

— Ты чего это?

— Да вот,— говорит,— пиво в ларьке кончилось, скукота. Форсункой решил заняться.

Форсунку изолировщики принесли еще вчера утром. Сулили ящик коньяка, златые горы и бронзовый бюст в назиданье потомкам.

— Бюст — это вещь! — соглашался Маэстро.— Но чем я тебе расточу такой профиль, чем?

И начальство, специально прибывшее из поселка, только кивало печально: да, нечем.

А сегодня вот... Рожа у него и под рубашкой оказалась вся в черных полосах, в пятнах. Мы на нее чуть не половину питьевого бачка вылили. Потом заварили солоноватого, поскрипывающего на зубах чайку — горлянки прополоскать.

— Пешки,— ворчал Маэстро, прихлебывая этот чаек,— что они понимать могут? А я все ж таки уральской выучки змей, не абы как!

Напившись, разжег он паяльную лампу, зажал форсунку в тиски. Через пару минут средняя шейка ее посинела, стала краснеть...

— Хватай пассатижами, змей, рви! — завопил он.

Я машинально дернул и чуть не сел на пол — так легко разошлась форсунка на две половинки.

— Что ж ты не предупредил, что здесь просто на горячо посажено? Все клоунничаешь? — обиделся я.

— И сам не знал! Ей-богу! Дома вдруг подумалось: не может быть, чтоб где-то больше моего умели. Небось схимичили.

Мы выточили каждый по половинке форсунки, посадили одну на другую, Маэстро тщательно зачистил, пошлифовал наждачком соединительную шейку. Так, чтоб и комар носа не подточил, не то что дубари-изолировщики. Делать это было совсем не обязательно, но он нетерпеливо приплясывал и что-то там напевал у станка — должно, репетировал завтрашний розыгрыш.

Часам к трем ночи, когда мы, профильтровав остатки воды, опять уселись чаевничать, Маэстро был спокоен и грустен, как всякий артист, хорошо подготовивший завтрашний номер.

— Не,— говорил, прислушиваясь к стихающему шуму ветра,— не-е, разве тут жизнь? При такой-то пылище? Не-е, это не по мне. Мне чтоб речка была, туман по утрам. А самое лучшее — знаешь? — это когда осенью ботву жгут на огородах, и тоже туман идет, желтоватый такой...

Мы улеглись; на старых ватниках было уютно и мягко, но не спалось. Мало-помалу стал он рассказывать про себя, что вот не знает точно ни имени своего, ни национальности, ни где и когда родился. В детдом попал пяти лет из госпиталя. Это по документам. А что было раньше, до детдома — ничего не запомнилось, ни вот столечко. И от этого все в его жизни выходит как-то ненадежно.

И странно! Я все это слышал сто раз и только смеялся до колик. А тут вдруг понял: все правда. То есть вокруг-то сплошное вранье, но тут вот, в самой середочке, в этой его тоске — она, кровная. Чтоб утешить его, стал даже говорить, будто все это не имеет значения. Ну, знаю я вот: на Украине родился. А что это мне дает?

— Ну, не скажи! — не согласился он.— Все ж таки душа — она до всего свой интерес имеет, прикидываешь с ней то так, то эдак. Вдруг я, к примеру, грузин?

— Да ты ж рыжий!

— Ну и что? Есть и грузины рыжие, и армяне, не исключено. И вообще все у меня как-то... Душа на месте только и была, что в армии. Иногда думаю: может, в сверхсрочники попроситься?

Служил он в Армении, танкистом. Кормежка, одежка — во всем порядок, никаких забот. Скажут: беги — бежишь; скажут: отбой — спишь. Ничего не скажут — опять спишь.

Чем не жизнь? Умотаешься за день, потом сидишь вечером на казарменном крылечке, и такая кругом красота, что так бы вот и растекся по ней душою.

Только перекуры не очень, чтоб нравились... Нет, не потому что махра. Махру он и сейчас смолил бы за милую душу. А потому, что набьются в беседку или в умывальник перед отбоем и давай друг другу душу травить: «А вот у нас...», «А у нас вот...». Послушаешь, так только и хорошо, выходит, что далеко где-то. А горы им, видишь ли, на душу давят и свет застят. Или опять же — про дембель разговоры. Еще на втором году обсуждать начали: кто куда подастся Одним — чтоб только домой, другим — чтоб от дому подальше, жизнь им повидать. А он этой жизни свыше ноздрей хлебал, и дом ему везде одинаковый — ему-то куда примкнуть, бедному? Да тут еще неудачно влюбился!

Нормальные люди нормальненько и влюбляются. Потанцевал там, притиснул — и все. Хоть в загс беги. А его заочно-журнально угораздило. «На первой странице обложки передовая доярка колхоза «Родина» Верхнеиссетского района». Губы пухлые, красные, вот тут чуть-чуть веснушек и щеки с такой ямочкой, что хоть бери и кусай. И главное — ничего больше на этой фотке нет, один ее цветастый платок во всю обложку, а глядишь и думается почему-то: славно, мол, у них там, в Верхнеиссетском этом районе, была бы там родина... И речка тебе уже видится, туман в кустах, голубой лес на той стороне. Отлепишься утром от этакой крали, на крыльцо выйдешь — не мир вокруг, а благодать божья!

Само собой, написал, переслали, она ответила. Фотку прислала уже не цветную, но и тут хороша. Ну и — понеслась душа его в рай! Через год переписки бумага аж дымилась — до того жарко на ней обнимались и целовались.

Дембель вышел ему поздновато — перед ноябрьскими. И, само собой, он в колхоз «Родина» мотанул. А время какое-то неопределенное: и снег, и грязь. Опять же и край неопределенный, вроде Первоуральска; где он в ремеслухе учился: горы не горы, но и ровной земли нет. Лес вдоль дороги и тот — через две ямины сосенка.

— Ну наконец приехал. «Сама она, говорят, на дойке вечерней, посиди!..» Дома одни браты. То-се, познакомились, я им поллитру на стол. Они своего чего-то там выставили, мутного. Но много. Сидим, толкуем. «Это, говорят, хорошо, что ты на Дашке женишься, девка в самом соку». А сами, черти, пухлогубые, сидят — не шелохнутся, важные, будто министры, всё всерьез. Ну, я тоже всерьез так осведомляюсь:

«В каком же она соку?» Молчат. Друг на дружку зырь-зырь, луп-луп рыжими... «В томатном, говорю, аль в собственном? Нам частика в томатном давали, скумбрию в собственном, так в томатном я больше уважаю». Опять они луп-луп друг на друга, наливают по стакану мутного. Оно сладенькое, без градусов почти, а в ноги шибает. «Давай, говорят, выпьем!» — «Это я завсегда и с дорогим удовольствием, говорю, поскольку служба моя окончена». Выпили. «А Дашка, говорят, в хорошем соку, кормленая, будешь доволен». Ну, слово тут за слово, стали мне вкручивать, какие они хорошие: мы, мол, построиться вам поможем, от колхоза телку дадут. Председатель обещал, мол, хорошую. И двух поросят, поскольку ты до техники специалист. «Откуда ж он, змей, это знать может?» — «Дашка все сказывала и даже фотку носила: вот, мол, колхозник новый». И тут как-то, знаешь, обидно мне стало: до чего люди хозяйственные — я еще не доехал, а они и в работу уже запрягли, и на двух поросят разменяли. Я-то, может, и одного не стою, а все одно! «Ладно, говорю, товарищи браты, поросят мы еще под водяру зажарим, а вот строиться мне на кой ляд? Что я — человек не советский? Куркуль я, что ли, чтоб собственность заводить?» Опять они друг на дружку: луп-луп... А братья-близнятки, мужички-боровички такие, совсем без росту, зато в плечах — во! «Дык, говорят, как же не строиться вам? Жить с Дашкой где будете?» — «А где койка у ней?» — «В той избе»,— кивают. «Ну, там и будем. Солдат человек походный: нынче здесь, завтра там, зачем ему барахло? Родина позвала — он вскочил, отряхнулся...» У меня, сам знаешь, слова не на привязи. А они, гляжу, всем мордоворотом багровеют, и один меня уже через стол за грудки норовит. Ну, я по рукам: не трожь, мол, танковые войска, они не таких бивали!.. Короче: невеста на порог, а у нас самый уже мордобой. Они меня в угол теснят, я еле бляхой открещиваюсь. Кинулась она братьев урезонивать, я шинель в одну руку, сидор в другую и... С такою, думаю, любовью да без головы останешься. И ходу! Через загородку козлом стреканул. К утру дошагал в район, покемарил чуток на вокзале и — к уполномоченному по оргнабору: так, мол, и так, выручай, потому что от всего сияющего одни фонари на морде остались. Пиши на Север, полярную ночь освещать стану. Мужик понимающий попался, офицер бывший. «На Север, говорит, набору нынче нет, а на юг могу». Так вот я здесь и оказался, всяких, вроде тебя олухов, жить учу. Хоть и не мороз, но тоже не сахар.

4

Недели две-три после этого прожили мы с ним очень дружно, хотя при народе мне по-прежнему было за него и обидно и стыдно, и злость брала и смех разбирал. Зато почти каждый день мы оставались «химичить». В тишине и безлюдье с ним рядом было как-то очень спокойно, уютно. Чем бы ни занимались — любое ремесло в его руках казалось таким простым и удобопонятным, как будто приросло к ним с рожденья.

Вообще его приспособленность к жизни была, по-моему, почти абсолютной. Сейчас, правда, под этим понимается больше умение всюду пролезть, достать, найти и вход и выход... Но ведь это приспособленность не к жизни, а к ее недостаткам, которые преходящи. Неизменна лишь самая суть. Маэстро был приспособлен именно к сути: он все умел, никакая житейская надоба не становилась для него камнем преткновения, не вырастала в проблему.

Проголодались — он тут же, в горне, не отвлекаясь от дела, кипятил чайник и на прутке зажаривал шашлык из колбасы. Горячая, чуть пахнущая угольным дымом, она бывала необыкновенно вкусна. Прихлебывая чаек, Маэстро принимался рассказывать — еда занятие приятное, за ней люди должны веселиться.

Было у него несколько любимых историй, смешных и нелепых, вроде журнального сватовства. Например, как его из ремеслухи чуть в московский хор не забрали. Дело, мол, только потому и не выгорело, что на самом решающем смотре, забывшись, запел на детдомовский лад: «Легко на сердце от каши перловой...» Вранье, конечно, чистейшее! Но пел он действительно здорово.

Впрочем, в эти последние недели был он грустней обычного, стал даже заговаривать о бессмысленности жизни: вот, мол, вкалываем, как папы Карлы, а для чего? К середине июля тоска окончательно его одолела, он вытребовал отпуск, накупил кучу рубашек, галстук с золотой ниткой, светло-серые английские туфли и укатил на Большую землю.

Без бдительного его присмотра жизнь моя, поскользнувшись на любви к российской словесности, сделала крутой зигзаг. Я стал бойцом культурного фронта, который у нас, как и положено каждой приличной стройке, был страшно запущен.

Маэстро вернулся несколько даже досрочно, без шикарного костюма и золотых часов, но необыкновенно воинственным.

— Ты что ж это, змей,— даже не сказав «здрасте», взял

он меня за грудки,— дезертировал? Покинул передовой участок?

Треск рубахи ясно говорил, что вопрос поставлен ребром.

— Погоди,— смиренно попросил я,— послушай.

Слушал он не очень, книжные передвижки явно не казались ему стоющим делом, но вдруг, уловив в лепете моем знакомое слово, Маэстро разлепил волосатые кулачищи и задумчиво почесал нос.

— Журнал — это, конечно, вещь! — он хмыкнул и покрутил головой, как бы вспоминая, как далеко может увести эта вещь человека.— Ну, черт с тобою, журнал! А я погудел славно. Представляешь, лечу в Свердловск, там гроза...

И пошла очередная его история — смешная, нелепая, без всяких границ меж правдой и ложью. Получалось, что он все летал и летал, везде были хорошие ребята, но долететь до места никак не удавалось.

Ну, а весной, как уже сказано, подобрали мы с Русачковым у аэродромной развилки одного человека, и тут-то выяснилось, что до колхоза «Родина» Маэстро все-таки долетел.

В мае была свадьба, а с нею вкупе крестины Маэстрова первенца.

Стол устроили прямо поперек улицы — четыре доски-сороковки перекинули от крыльца до крыльца, от одного вагончика до другого. И было за этим столом так тесно и шумно, что сперва каждому казалось: он в минуту оглохнет или же вылетит отсюда, как пробка. Но проходило пять минут, десять, все утрясалось и притиралось, становилось свободно и весело, и уже думалось, что будь здесь чуточку попросторней, такого б веселья не получилось.

Маэстро сидел королем — отмытый почти дочиста, в свежайшей сорочке, он поднимал стопку, усиленно оттопыривая мизинец с золотым кольцом. Охотно пояснял: «А это я так и женат, правда, Даш, вот настолечко!» — и, показывая полмизинца, заливался хохотом.

Хохоту вообще было много. Какое-то было у всех настроение — все только смешило, даже то, что Маэстро прошляпил неслыханное в наших краях счастье — двухкомнатную квартиру.

А вполне мог бы и оторвать! Комсомольские свадьбы были еще горячей новинкой. О них писали, за них хвалили. И наши комитетчики, не желая ударить лицом в грязь, решили лучшего своего бригадира оженить по самой передовой методе — с речами и поднесеньем ключей от капитального гнездышка.

Но еще раньше другое начальство, в области, наметило

слет коммунистических бригад. Маэстро направили туда, снабдив прекраснейшей, тщательно отпечатанной на машинке речью. В общем, все шло как надо, но как-то ему показалось странно, что такие славные ребята — так хорошо вчера с некоторыми посидели! — а сегодня сидят, как сонные мухи, клюют носами под мерный бубнеж. Несправедливо это ему показалось, обидно!

Выйдя на трибуну, он начал с того, что, мол, собрав столько представителей светлого завтра, незачем сажать у газет старушку. Можно и жестяночку под мелочь поставить. Не зажилит светлое завтра свои две копейки, отдаст. В зале зашевелились, в президиуме самокритично захлопали, сдержанно улыбаясь. Маэстро чуть поклонился публике, ощутил прилив вдохновенья и...— понеслась душа его в рай! Говорят, было все: и клятвенное биение в грудь: «Да будь я жаба, а не матрос!» — и скупая мужская слеза по безвинно загубленной жизни юного ленточного экскаватора, и много чего еще. Зал хватался за животы и сыпался под стулья целыми рядами.

В перерыве Маэстро ходил гоголем, окруженный поклонниками, даже из президиума один товарищ подходил, сказав, что по сути все правильно, только уж слишком... И неопределенно покрутил растопыренной пятерней.

Но... «Была,— сказали у нас в комитете,— не спорим, была такая идея насчет комсомольской свадьбы, обсуждалась, да ведь не все, что обсуждается...» Полвагончика и те Маэстро пришлось выбивать, пошумев в парткоме.

— Зато посмеялись! — горделиво подбоченясь, говорил он.— И вот, ёшки, смех смехом, а слесаря на ленточном уже возятся, бумага Сидорчуку пришла — враз зачесался. Поняли? Чуете, чем пахнет?

— Ох, Дашка! — кричала завитая, железнозубая жена прораба Прохарченки.— Наплачешься ты с ним, на тракторе спать будешь.

— Наплачусь, Катя, как пить дать наплачусь! — соглашалась помолодевшая после родов Дашка.— Ой, пропаду с иродом! — и висла на иродовом плече, так вся и светясь, так и тая.

В ту весну она, похоже, всем была счастлива — и полувагончиком, и мужем, а больше всего, быть может, твердостью нашей милиции, отказавшейся менять ему паспорт. На радостях выбрала сыну самое что ни на есть русское имя — Иван.

5

Господи, как давно это было! И какими мы были зелеными! Такими зелеными, что за неделю без бритвы становились не ржаво-колючими, а лишь пушистенькими, как персики.

И вот прошло столько лет, что и памяти нет; и давно уже во сне не бегу я, задыхаясь, степью к чему-то нестерпимо прекрасному, и забылись многие имена, лица, стерлись события. Все давно уже неинтересно...

Но вдруг выяснилось: можно поехать. В тот самый город! Запросто! Ничего не стоит, только скажи: туда.

И я сказал. Сперва сказал, а уж потом подумал: зачем? Ведь писано дураку: «По несчастью или к счастью, истина проста: никогда не возвращайся в прежние места». Но пока голова трезво об этом думала, сердце стучало все яростней и нетерпеливей.

Зеленого вагончика с антенной на месте, само собой, не оказалось. Аэропорт был, как и везде: солидный, бетонный, серый. Снаружи стояли светлые «Волги» с шашечками, совсем как в столицах.

— Вас в гостиницу? — спросил шофер без всякого юмора.

Потом я долго, до телеграфного гула в ногах бродил по улицам, по неведомой набережной... Город был — чужей не придумать! В сумерки, наконец, набрел. Сидел во дворе, у круглой чаши пересохшего фонтанчика, и подозрительно разглядывал обшарпанную четырехэтажку: неужели та самая? Вот это полубарачного вида зданьице без всякой архитектуры — это и есть первый наш капитальный? Наш сияющий, греющий душу, наш, видимый черт-те откуда, точно маяк?!

Нет, видимо, старенье есть то, что происходит не только с нами, но и с нашим прошлым. В нас оно живет так, вовне подругому, с годами пропасть растет, контуры берегов перестают совмещаться. Вот почему «по несчастью или к счастью...». Скорее все ж по несчастью, ибо никуда не денешься: очень это обидно.

Ну, а к прежним людям и вовсе заказан путь. Дома разрушаются, люди растут. Назавтра вот принимал меня главный инженер стройтреста. Рассказывал про темпы, масштабы. Солидный басок, седоватый ежик над высоким загорелым лбом, вальяжные ухваточки. Будто он так и родился — в шикарнейшем, бесшумно вертящемся кожаном кресле. Из-

винился, повернулся, открыл в стене полированную дверку — там у него холодильник, оказывается. Запотевший нарзан, стаканчики, любезнейший жест: прошу!

Да, говорю ему, а когда-то здесь только подсоленный кипяток с утра пили. Помните, Жакен вас учил, сварщик, чтобы потом не потеть и не слабнуть на лютой жаре...

— Что-то,— говорит,— вроде припоминаю.

Неуверенно так.

А весну шестьдесят второго, трассу — в вагончиках дым, анекдоты, иногда теплая водка, грязь ползет по степи пластами?..

Он помаргивает; я смотрю — реснички у него выгорели, и такая под ними смущенно-незамутненная голубизна, что за версту видать: ничего не помнит! Меня даже в пот слегка кинуло. Не может, думаю, быть такого! Даже ведь на двери написано: Русачков Александр Авдеевич.

— А Маэстро Шахбазова,— говорю,— помните? Мастера механической мастерской, Кольку?

Ага, дрогнуло что-то, глазки зеленцой вспыхнули.

— Ну, которому невесту вы привезли, помните?

— А! — говорит.— Как же! Он от нее еще сбежать хотел, наплел ей, будто большой тут начальник...

«Ладно, думаю, пусть будет хоть так».

— Так где он теперь, Шахбазов?

— Ну, что вы! — смеется.— У нас теперь такой городище, что и добрых-то знакомых не встречаешь годами. А его... Нет, даже не помню, когда и видел. Уехал, должно.

Повспоминали еще минут десять довольно вяло: я не помню одних, он — других.

Вышел от него — белесое небо пуще прежнего давит в затылок, рубашка липнет к спине, душно.

Долго, бесконечно долго шагал какой-то дорогой — по бокам решетчатый бетон заборов, густо и однообразно пропыленный, автобусные остановки у проходных, чахлые деревца... И только, откуда ни оглянись, округлые башни опреснителя так и царят надо всем, так и слепят, струятся в небе, ломкие от жары. А тогда над ними еще и кран стоял — рыжий аист.

Наконец выбрался к морю, бродил, искал заветную бухточку. Дно там когда-то почти сплошь было устлано плоскими камнями, поросшими зеленоватою слизью. Отвалишь такой — черный рачище сидит — не шелохнется, ошеломленный внезапным светом. А ты его — цоп! Нахватаешь с десяток и варишь прямо в морской воде — удивительная вкуснятина!

Камней и теперь хватало, но раков не было нигде. Я окончательно устал, искупался и долго лежал на песке, думая, что чужей когда-то построенного тобой города может быть только женщина, любившая тебя давно и вполне мимолетно. И потому — пора, мол, бросить сентиментальные бредни, заниматься делами.

И когда совсем уж не ждешь и не надеешься, вдруг происходит.

Тебя ведут по длиннющему заводскому пролету, воодушевленно внушая, как славно принимают тут пэтэушников, закрепляют молодые кадры... И вдруг ты останавливаешься, сам ничего еще не понимая, просто хочется тебе посмотреть, как он руками размахивает — этот высокий лысый мужик, толкующий о чем-то юнцам, которых так и корчит от смеха. К тебе он спиной, только лысину ты и видишь, но на душе у тебя как-то непонятно ширеет, светлеет, точно это не лысина, а разгорающаяся лампочка, солнышко восходящее...

Невольный шаг:

— Маэстро!

Он оборачивается.

— А, журнал,— говорит как ни в чем не бывало.— Здорово, змей!

И вы, как в старые добрые времена, слегка тузите друг друга.

— Ух, растолстел, ёшки!

— А ты? Патлы-то рыжие куда делись?

— Да вот, гладит каждая: хороший ты мой, хороший...

— Ух ты, Шахбазянище! Как первенец? — спрашиваешь.— Дарья как?

И осекаешься. Поскольку — мало ли что за двадцать-то лет...

— Да ничего,— говорит Маэстро,— живут, чего им станется? Ванька, змей, в люди метит, в столице учится, а Дашка — та еще выше взяла,— важно поднимает он палец.— Администраторша, во! — и хохочет.

... А потом, на закате, сидишь ты у него на кухне, перед распахнутым балконом — он сам по простоте южных нравов вышел туда в одних трусах и, взмахивая рукой, объясняет тебе, что раки в бухточке еще водятся, ты просто не туда вышел, надо было от опреснителя вон туда взять, левее, за орсовский склад.

— Что за склад еще, где?

— Ну, за те бараки, в которых раньше больница была.

— Какая больница?

Тебе немножко стыдно, что ты все позабыл уже, и не знаешь, как увернуться от этого разговора, но тут приходит Даша. Она теперь такая же яркая, холеная блондинка, как почему-то все — по всему Союзу! — гостиничные администраторши. И немудрено, что там, в гостинице, вы не признали друг друга. А здесь — муж еще и рта не разинул — она странным образом сразу же тебя узнает.

— Ой! — говорит.— Ёшки! Да то ж вы! Каќ же эт я вас не признала, когда прописывала? — и, опустив на пол сумку, всплескивает руками.

— Точно! — смеешься.— Вы меня поселяли... Ну, ничего! Это, говорят, к богатству. А вы тут как, как живете, не ругаете, что я вас тогда к этому вот Шахбазяшке привез?

— Он у меня теперь все в Рустави переехать грозит. Уже и усы было завел, да я один ночью оттяпала!

Потом-то, за столом, после нескольких рюмок она мужа, конечно, ругать принимается: жить, мол, не умеет, попросить нигде ничего не может, всем со своим языком сала за шкуру залил.

— У, змей! — грозит ему кулачком.— Вот вы не поверите, а мы десять лет так в вагончике и жили, пока аж мне от горкоммунхоза не дали, потому и детей не завели больше... Да и сейчас! — машет она рукой.— У всех трехкомнатные давно, а у нас что? Мебели приличной негде поставить.

— Так вот на нее посмотришь,— склоняя голову набок, говорит Маэстро,— посмотришь: вроде вполне городская, советская баба. А замашки все одно из деревни, кулацкие. Всего-то ей мало, все мало...

— Уж лучше кулацкие, чем дурацкие!

Но через минуту она мирно его обнимает, наваливается на плечо пышной грудью, и все вы дружно поете...

— Раки еще есть,— успокаивает тебя Маэстро.— Это ты не нашел, а вот пойдешь со мной послезавтра...

И так тебе хорошо с ними, так отчего-то блаженно, как дома после баньки и то не всегда бывает. И не хочется ни думать, ни говорить о том, что послезавтра ничего уже не будет, потому что счастливая твоя командировка кончается завтра.

— А раки есть,— бубнит подвыпивший Маэстро.— Все, змей, меняться не может! Надо чему-то и оставаться, стержень везде нужен, крепеж. Вот мы с тобой пойдем...

ПОСЛЕДНИЙ МЕЧТАТЕЛЬ

Взгляд у него странный — настырный и в то же время соскальзывающий, убегающий. Спросив, он не от тебя ждет ответа, а высматривает его где-то там, за твоею спиной. Это мешает, и я, уже приготовившись что-то вякнуть, лишь неопределенно подергиваю плечом.

— Вот то-то и оно! — удовлетворенно говорит он.— Даже если взять тебя, хоть ты у нас и молодцом, но... сценарии-то пишешь?

— Какие?

— Киношные. Нет? А что ж так жидко?

— Почему жидко?

— Ну!.. Новый год помнишь? Последний наш.

— Вроде бы помню...— медленно говорю я.

Он и в самом деле откуда-то уже выплывает — тот Новый год у Зои Цаплиной, последний наш школьный, неповторимый. Мятным холодком скользит между лопаток... Холодком, в котором все: и мокрая, глубоко, вольно дышащая за окном ночь, как-то ясно, отрадно все время мной ощущаемая сквозь духоту и гам; и высокие комнаты, и белесая пыль, выбитая танцами из скрипучих полов старого дома; и липкое предательство ладоней, которые, стоит тебе подойти к девчонке, потеют и зудят, украдкой вытираемые о штаны... Все-все есть в этом знобящем холодке: и радость, что все же удалась наконец идеальная складка на моих черных дудочках, и таинственность появления первых девчонок — какие они, оказывается, под своими плащами нарядные, надушенные, завитые! — и страх за пластинки — брат голову обещал свернуть, если их разобьют... И первый тост, и смех, и ор, и гам — все-все, вплоть до физического ощущения Нового года, той совсем новой, счастливой жизни, которая входит в тебя с первым же глотком промытого за ночь воздуха, когда после всего этого гама ты оказываешься наконец на крыльце, и уже утро, и небо над морем редеет, и девушка вдруг доверчиво берет тебя под руку, чего никогда с ней еще не бывало!..

Вот только — при чем тут сценарии? Хотя что-то там, кажется, было... Была тесная комнатка, в ней тахта — этакий пружинный матрасище на козликах,— были свечи на пианино, так и не зажженные, ибо не велено. И вместо них — голубоватый свет ночника, и белые Вилькины пальцы, хищно присогнутые над клавишами, как бы нацеленные вырвать за раз целую горсть звуков.

— Вон ты о чем! — говорю я.

Да-да, это уже под конец, уже часа в три, когда веселье угасает, танцы поднадоели, а в открытую форточку выманывающе долетает то чей-то смешок с улицы, то нестройная песня, и все решают пройтись, девчонки уже разбирают плащики... Само собой, хохот, тысяча недоразумений. И тут вот в дверях вырастает Вилька, звучным, полным своим голосом перекрывает галдеж: «Внимание, господа! Для оставшихся будет играть Виль Зуев, Советский Союз!»

Он был девчачий кумир и красавчик, наш Виля. И Зойка тут же, конечно, осталась. И Милка осталась, и я покорно потащился за нею, плюхнулся на тахту... И Шафига, и Зорик, и все в конце концов набились в Зойкину комнатку, как сельди в бочку. Вилька, погасив свет, чтоб все было как на концерте, сыграл нам сперва нечто короткое и бравурное, а потом долгое и печальное.

И опять все болтали, острили, хохотали, Зойка притащила бумагу, все стали сочинять афишу нашего фильма, понаписали много глупостей. Постановщиком там значился, естественно, Вилька, автором сценария я, в главной роли — наша красотка Шафига Шарипова, заслуженная актриса Татарской и прочих республик. И Петька тоже чего-то там рисовал, вякал не очень для нас лестное, за что Шафига лупила его по шее, а он блаженно улыбался...

— Конечно,— радостно говорю я,— конечно, помню! И афишу, и...

И осекаюсь, сообразив, что у нас же с ним спор, он доказывает, будто ничего так и не вышло из наших тогдашних мечтаний, и эта афиша, следовательно, еще очко в его пользу, так как я не пишу сценариев, Виль наш спивается где-то в провинции актеришкой без речей, а Шафига и вовсе, кажется, погибла.

— Да, было времечко! — вздыхаю примирительно.— Ну, дурачки, ну, мечтали, хвастали... Так разве в семнадцать не положено быть хвастунами?

— В семнадцать-то...

— Брось, Петька! — говорю я.— Лучше давай выпьем. За всех, кто там был! За нас!

— За всех? — он как-то сомнительно хмыкает, но пьет, и мы с минуту молча оглядываем стол, соображая, чем бы притушить хмельное тепло, растекающееся в подвздошье.

— Эх, хорошо!

Сидим мы с ним в старой гостинице на ресторанной веранде. Ветерок шевелит над нами полосатый парусиновый тент.

Веранда эта — шестой этаж громадного дома, и, как ни

разросся в мое отсутствие наш городок, отсюда он по-прежнему виден, будто весь на ладони. И еще видно солнце, стекающее багровою каплей в фиолетовые холмы у горизонта, и светлое еще море, и сумерки, густеющие, точно кисель, под кронами молодых софор приморского парка. Все явственней слышен йодистый запашок выброшенных штормом и подгнивающих на берегу водорослей.

Мне хочется расспросить его об этом шторме и еще каких-нибудь пустяках. Ну, скажем, до сих ли пор ловятся бычки на камнях и на что ловятся? Ведь это — черт подери! — та самая веранда, и город тот самый, и море...

Я жил здесь всего два года, потом не был почти четверть века, да и приехал лишь на неделю. Но те два года значили для меня столько, что было бы обидно не ощутить, не увезти опять чего-то тогдашнего. А ощутить все не удавалось.

Не слишком обремененный делами, с которыми приехал, я шлялся по улицам, приглядывался к домам, прислушивался к горластым дворам, увешанным постирушками, усыпанным чумазой ребятней; на закате брел далеко в степь, давно уже выгоревшую, мутную у горизонта. И все мне было что-то не то. Я задыхался, солоноватая белесая пыль щекотала горло, воздух был сух и горяч даже ночью. А ведь нигде в мире не дышалось мне так легко, нигде влажный ветер не наполнял грудь такою сладкой тревогой, как здесь когда-то. И говори не говори, что ты, мол, здесь ни при чем, это просто море мелеет и отступает, и с каждым годом дыхание его в городе чувствуется все глуше; говори не говори — а все-таки как-то обидно.

Бэллу Рудольфовну, старую нашу литераторшу, встретил я случайно, у рынка. Она всплакнула, когда я назвался, сказала, что не только, мол, помнит, а следит и даже слышала о моих успехах... Я не стал уточнять о каких. Приятно хоть так узнать, что есть и у тебя успехи. И пока нес я сумку ее с баклажанами и алычой, она рассказывала, кто нынче где и кем из нашего выпуска. Странно, но я многих не помнил. В том числе и Петю Симакова. То есть что-то такое мерцало, какие-то стихи, споры, бесцветные усики...

Но остальные были где-то далеко, он — здесь, старушка говорила о нем с гордостью, и я, поколебавшись, отправился с утра к нему на завод. Вопреки ожиданиям, он не только вспомнил меня, но и сразу узнал, обрадовался, попросил лишь чуть подождать, пока закруглит самые срочные из дел,

после чего я около часу разглядывал весьма солидный его кабинет с четырьмя телефонами, электронным табло и прочими штуками.

И вот мы здесь, на веранде, чему я рад, и спорим, чему не очень.

Уже и сумерки выползают из парка, вдоль набережной повисает низка молочно-розовых бусин, пахнет полынью и морем, и вечер без нашего спора мог так быть хорош — прямо до дрожи. Но...

— Уж очень высоко мы замахивались! — обмакивая в соус лаваш, яростно провозглашает мой одноклассник.— Слишком! Помнишь, читали: «Кто мы — фишки или великие? Гениальность в крови планеты!» С упоением, а? Вот это-то упоение нам потом и отрыгнулось. Так или нет?

Что ему сказать? Так? Или нет?

Сколько себя ни помню, наше поколенье всё судят, всё его ругают! Сперва жучили учителя, родители — за слишком раннюю взрослость, цинизм, иронию, самонадеянность и непочтение к авторитетам; потом писатели, журналисты — за инфантильность, чересчур долгое детство, нехватку задора и конформизм; а теперь уже и детки пошли потихоньку — за неумение жить, излишний романтизм, почтенье к авторитетам, раннее старчество...

За долгие годы на этом деле обкаталось столько фраз, в которых вроде бы и ум, и наблюдательность, и если не правда, то все-таки что-то где-то... И такой в этих фразах соблазн для всех доморощенных философов, и столько раз я уже все это слышал, что послать бы его подальше, и...

Можно бы и послать, да я уже к нему пригляделся, уже передо мной не неведомый чего-то там начальник, а все тот же наш Петя Симаков, и любовь к спорам у него все та же, и так же пощипывает он усики, только стали они жестче и гуще, с сединкой, да на месте задиристого хохолка — просторная лысина, да голубоватое бельмо появилось на левом глазу. Из-за бельма-то он и глядит все время чуть в сторону, а это и придает его лицу чужое выражение недовольства, даже брюзгливости.

— Петь,— говорю я,— а что у тебя с глазом?

Отмахивается:

— Чепуха! Стружка попала.

— Когда?

— Давно. Работал на фрезерном.

— Как? Ты ж сразу в институт, с первого захода, я ж

помню. И не куда-нибудь! Из нашего класса вообще куда-нибудь не поступали, а ты...

— Все мы с первого захода чего-то да оторвали! — не дослушав, отсекает он восторженные мои воспоминания.— Ну и что? Ничего ведь так и не получилось? В итоге-то?

— Да брось! — смиренно предлагаю я.— Что — так уж ничего и ни у кого?

— А у кого, у кого, ну?

— Да мало ли? Ну, я не помню, кто у нас там... Зорик, например.

— Казарьянц? С месяц, как виделись. В бакинском «Интуристе» на саксофоне дудит.

— Шутишь? Он же в консерваторию поступал.

— Ми-илай! — торжествующе тянет он.— Об чем и речь: все мы поступали куда-то. И не просто куда-то, а ого-го! Море было по колено. Ну и что?

Эх, надо было сразу отшутиться. Что ж, мол, что не великие? Зато и не фишки, никто нас не двигает, вот в кабак сами пришли... А теперь уже и обидно: на весь наш клас да не сыскать ни одной воплощенной мечты? На наш, самый талантливый и хулиганистый?

— А Фикрет? — вспомнив еще одно имя, говорю я.— Он здесь?

— В Баку. Ну, его бы ты не узнал. Стал такой белый, полный, как будто завмаг, да? На тар совсем не играем, немножко математику преподаем, совсем чуть-чуть...

Я смеюсь. Так похоже вышло, даже нос у Петьки будто вытянулся и обиженно загнулся.

— В институте?

— Преподает? Нет, милай, в школе. Всего лишь. В науку пойти дерзости не хватило.

— Дерзости?

Вот уж действительно!.. Да за что ж дважды исключали из школы нашего стеснительного и деликатнейшего Асланова, как не за дерзость? Они с математиком вечно цирк устраивали. Вызывая к доске Асланова, тот выискивал примеры немыслимой заковыристости. Фикрет чуток задумывался и писал ответ. Сразу и начисто. «Тэ-эк,— удивленно сверяясь с бумажкой, тянул математик.— Но как же ты это получил? Нет, ты объясни!» — «Ай балам! — взмахивая руками, взрывался Фикрет.— Самому соображать надо! Чуть-чуть, да?» Ни дисциплина, ни застенчивость не могли пересилить в нем презренье к бездарности.

— А это, милай, не я так говорю,— заверяет меня Петька.— Это он так сказал, да!

За соседним столиком появляется знакомая Петьке компания, он трясет над головой сжатыми руками, приветствуя их. Этого мало. Подходят, жмут руку, улыбаются, восхищаются и, наконец, уволакивают его к себе.

— Извини,— говорит Петька.— Сам видишь...

Признаться, я рад возможности побыть одному. Спор наш чем дальше, тем тягостнее ложился на душу.

А веранда почти уже полна. На дощатой эстрадке устраивается местный джаз — четыре пижона с грузовиком аппаратуры. Публика самая разношерстная. Но Петькины знакомые явно завсегдатаи-солидняки. Официант склонялся над ними с преувеличенным почтеньем и жадностью. Что не мешает им, впрочем, с еще большим почтеньем юлить перед Петькой.

Странно, что Фикрет стал учителем. Впрочем, тут, быть может, и нет ничего вынужденного, житейски случайного. Профессию, как и все в жизни, можно выбрать и от противного, вопреки чему-то. Но это, конечно, для Петьки не довод. Он вещает свое с таким напором, что тут пахнет уже не доморощенной философией, а страстью, личным интересом...

Грохнул джаз. Петька очутился в кругу, бабенка лет тридцати в малиновом бархате притопывала и трясла перед ним рукавами. Грудь ее так и искрила, густо вышитая чем-то блестящим. При Петькиной корпуленции пляска их выглядела смешно, даже жалко.

Впрочем, жалко мне его не было. Просто я думал, что солидное положение всегда навязывает человеку некоторое притворство, игру. Вот: Петьке, может, и хочется послать их всех подальше, а надо по-своему ублажать, хотя это не он, а они перед ним заискивают. Не потому ли люди с положением, хоть и гордятся собой, но втайне жизнью чаще всего недовольны и даже уверены, будто хотели и добивались чего-то совсем другого, неполучившегося?

Он отвел даму к соседнему столику, и там его опять умоляюще хватали за руки:

— Мэнэлим, Петр Саныч, мэнэлим...

Джаз грохотал.

— Уф! — сказал Петька, валясь в кресло.— Еле отмотался. Ты извини.

Он стал что-то рассказывать о своем младшем. Я плохо понимал из-за музыки. Да и что мне за дело до какого-то акселерата в сторублевых штанах! Я думал о нем самом, о Петьке. Чем ему так уж это улыбается — принадлежать к поколению неудачников? Возвыситься за чужой счет? Владельцы просторных кабинетов редко сомневаются в том, что являют собою пример положительный. Но, вероятно, быть

положительным исключением еще слаще? Не одним из многих, а единственным — а? Подыграть ему, что ли, выманить на откровенное хвастовство и тогда...

— Что-что? — переспрашиваю я.

А! Петькино чадушко собирается в военные, а не в гражданские летчики только потому, что у военных пенсия больше. Действительно, неплох закидон для семнадцати лет.

— Ладно! — говорю, почти что ложась грудью на стол, чтоб он хоть чуть-чуть меня слышал.— Дай бог вашему теляти... Но можно отлично устроиться и все же остаться в дурнях!

— Вариант не исключен,— не обижаясь, соглашается Петька.

— А я тут знаешь что вспоминал, сидючи? Сочинение, которое в девятом писали.

— Что-что?

— Сочинение! — ору я.— Помнишь, Бэлла Рудольфовна придумала нам свободную тему? О будущем.

— А! Ну как же! Один товарищ еще накатал: будет, мол, пурга на сибирской стройке, а он будет идти... идти... Забыл, куда он там будет идти? Но Бэлла читала с таким восторгом.

«Что? Получил по морде?» — спрашивает его улыбочка. Я креплюсь:

— С этим,— говорю,— товарищем суду все ясно. Был ему такой урок на тему: как не надо писать именно то, чего от тебя ждут. Потом пригодился.

— И больше он так не писал? — улыбочка еще ехидней.— Или бывало?

— Изредка. Но я, Петя, о другом. Я насчет маленького узла для гигантского самолета.

Еще не договорив, чувствую, что несу что-то не то. Хотел ведь ему подыграть... Уж очень он злить умеет, черт бельмастый!

— Не довелось, увы! — как-то даже радостно разводит он над столом пухлыми ручками.

— А почему? Выпускники МАИ...

— Поступал в МАИ, а выпускник я, милай...

— Что ж так?

— Жизнь складывается непредсказуемо — как сами вы изволили выразиться.

— И куда распределился?

— Как всякий заочник... Но! Если желаешь, то и спорить не буду: в конструкторы я мог. Была такая возможность, но! Не переходить же со ста шестидесяти на голенькие сто десять? Семья — она презренную капусту любить!..

— Ну хорошо,— соглашаюсь,— не будем понимать наши мечты так буквально. Ты инженер, руководитель производства...

— Хи-хи! — он даже в кресле подпрыгивает.— Милай, не щекоти пятки! Снабжение и сбыт — это не производство. Это у нас цирк! Прохиндейство и черт вообще знает что! Я тебе про любимую службу могу не на фельетон, а на дю-дэктив порассказать. Роман века напишешь! Желаете?

— Ах, вам не нравится? — подхватываю я, опять мимовольно соскальзывая в издевку.— Тем более — зря в конструкторы не пошел. Легче кошелек — легче и совести!

— И представь: отлично я это знаю. И тогда еще знал! Да, милай ты мой, ну кто ж этого не знает? Но! Ученый, сверстник Галилея, был, как ты помнишь, Галилея не глупее. И не знал, что вертится земля, но у него — увы! — была семья. Вот так приблизительно. Кто заводит жен и детей, тот оставляет судьбе заложников.

— А это еще что за вирши?

— Не вирши, а философия. Бэкон.

— Не знаю, не читал. Но фамилия свинская.

— Ты, милай, всегда был дико необразован...

Где-то тут его опять утащила к себе компания с малиновой красоткой. И хорошо сделала — иначе б мы вдрызг разругались.

Хотя бы потому разругались, что с некоторых пор известного рода шуточки действуют на меня, как на быка красная тряпка. Секрет этого юмора, получившего у нас широкую популярность в узких кругах, довольно прост. Берешь грешок, гаденький какой-нибудь, и ни в коем разе его не прячешь — наоборот, вертишь в разговоре у всех им под носом, как дорогой цацкой: вот, мол, да, некоторым образом приобрел-с, ну и что? И глядишь, ты уже не носитель грешка — ты уже выше этого, как человек широких взглядов. Ну, циник немножко, так в этом самая-то и соль. Стоит это недорого, в обращении удобно, эффект гарантирован!

Петькины шуточки о капусте и любимой службе были как раз в этом роде, и я уже набирался злости сказать об этом, но тут его увели, минут через пять он возник средь танцующих, и красотка в малиновом бархате опять вся искрилась, вскидывая и роняя пред ним долу роскошные свои руки. Он подпрыгивал, животик его тоже подпрыгивал, грозя вывалиться из фирменных вельветовых штанов. Австрийский батничек потемнел под мышками. Странно, но я за весь день как-то и не заметил, что Петька такой пижон — «весь в фирмé».

Неожиданность этого открытия меня, наверное, и подкузьмила. Глядя на них, я стал думать, что человек, может, так и не привыкает к своему телу. Излишняя полнота, физические недостатки и болезни — это не мы, это на нас, как плохо сшитый костюм. А человек, каким он сам себе кажется, всетаки виден сквозь все, проступает. Так же, как может в нем самом проступать какая-то давняя боль — сквозь смех, ерничанье, танец... Не знаю, какое все это имело отношение к танцующей передо мной паре. Просто так: думалось — вот я и думал.

Петька пришел, плюхнулся в кресло и сказал, будто мы и не прерывали спора:

— Самым умным из нас был не я, а Октай.

— Гусейнов?

— Он, милай, он! В том сочинении один он написал правду: хочу, мол, дом — чашу полную. Без романтических затей.

— Ну у тебя и память!

— Провинция — она, брат, все помнить! К тому же разве мы не все того же хотели, только постеснялись написать? А? Скиснительные были — страсть.

Ну, ладно. Не стоит вспоминать всего, что было сказано. Думаю, приятного он почерпнул мало. Уж тут я и насчет шуточек его выложил, и что не все так уж любят капусту, ровно как и не все, знающие, что Земля вертится, искажают в отчетности этот смущающий начальство факт. Да и такими стеснительными, как он думает, тоже были не все. Даже красотка наша Шафига и та не постеснялась написать, что родит четверых детей, хоть все и ржали, как недорезанные, а Зоя — что у нее будет красивый и знаменитый муж... Не постеснялись? Так что ж помешало ему?

Все это я говорил, глядя в стол, чтобы не дать себя перебить. Но когда кончил, над нами повисло молчание, такое долгое, что мне стало даже неловко. Пригласил одноклассника поболтать, молодость вспомнить, а сам взял и к стенке его поставил — хорош гусь, а?

— Ладно,— забормотал я миролюбиво,— бросим эту тему и поговорим лучше о бабах. Где, кстати, наша Милка, где Зоя — ничего не слышал о них?

Он опять промолчал. Лицо его было бледно, лысина покрылась потом.

— Тебе плохо? — приглядевшись, с тревогою спросил я.

— Нет-нет. Это так... чисто алкогольное.

Достал платок, вытер лысину.

— Шафига... Шафига, если хочешь знать, была не кра-

сотка, а красавица — большая разница, милай! И уж она-то могла себе устроить любую судьбу, как теперь говорят. Стоило только пальчиком поманить... Да вот — не захотела.

— Да, я слышал... Она погибла, кажется?

— Погибла. Милка тоже недолго по тебе горевала, вышла замуж за одного тут... Потом в Невинномысск уехали. Ну а Зоя — Зоя моя жена.

— Вот как? — от удивления я чуть было не ляпнул про Вильку, да спохватился: мало ли кого кто любил четверть века назад? И только повторил: — Вот как?

И опять молчание повисло над нашим столом. Мне было как-то не по себе, будто я таки бог знает что ляпнул и теперь не знал, как выкрутиться. С радостью ухватился за первое подвернувшееся:

— Послушай,— сказал,— Октай — он ведь что? Здесь где-то?

— В Поселке.

— Ну?! Так давай возьмем коньячку, тачку... Нагрянем, а?

— Я адреса не знаю.

— Ерунда! В Поселке — да не найти? Давай! А то мы тут спорим...

— Визит к последнему, так сказать, мечтателю: осуществилось ли хоть у него? Пожалуй...— вяло полусогласился он.— Я только должен тут пару слов с ребятами... Ты посиди.

Сидеть уже я не мог. Мне загорелось немедленно смыться отсюда, увидеть новые лица... Чтобы ускорить это, я кинулся на поиски нашего официанта. Он стоял у железной, увешанной вазонами с зеленью решетки, прикрывающей вход в кухню, и глубокомысленно выстукивал что-то на кассовом аппарате.

Насчет коньячку мы с ним мигом договорились, но чуть я вытащил кошелек, он замахал руками и попятился от меня, как от черта, жалобно бормоча, что очень Петра Саныча уважает, что гость у них святой человек и вообще «не могу, никак не могу, дорогой!». Я попробовал сунуть бумажки ему в карман, но он так дернулся, что чуть не уронил один из вазонов. На нас смотрели посмеиваясь. Я почувствовал, что выглядим мы со стороны довольно нелепо, и обида, как хмель, густо ударила мне в голову.

Когда вернулся, и коньяк и Петька были уже на месте. Что, мол, за дела, строго, не садясь, спрашивал я, почему меня выставили идиотом? Он тянул меня за руку и уверял, будто Идрис ошибся, поскольку я приезжий; у них старый уговор, но на меня он не распространяется.

— Темные делишки тут обделываешь?

Да, согласился он, темные, но на пользу производству и только ему одному. Все равно, гордо заявил я, за счет всяких там производств пить не буду — и выложил деньги. Мы их перепихивали друг другу, разбили фужер, официант тут же его убрал, а Петька сдался и спрятал мои десятки в карман, но как-то так, что мне опять стало стыдно.

Мы еще долго и темпераментно объяснялись, наконец дружно решили выпить за темные его делишки — чтоб они провалились!

— Вот именно — чтоб им провалиться! А пока есть, так кто-то их должен делать, да? — Петька сорвал станиольку и лил коньяк, щедро расплескивая на скатерть.— Выпьем за всех, кто их делает честно! По силе возможности, да?

Я придержал его руку.

— Постой. Что ж ты открыл? Мы что — не поедем?

— Куда? — удивился он.

Я и сам подумал: куда? Было уже совсем темно, фонари ярко подсвечивали снизу листву тополей, что когда-то прутиками свистели на ветру, а теперь глухо шумели чуть ниже веранды, на уровне четвертых этажей. Петька был пьян... Куда было ехать?

На улице, впрочем, я быстро пришел в себя, во всяком случае настолько, что поволок Петьку пешком, дабы не вышло с ним каких недоразумений в транспорте.

Дорогой он стал рассказывать мне, как погибла Шафига. Язык его заплетался, я понимал рассказ с пятого на десятое. Сразу после школы она провалилась в ГИТИС, вернулась домой и пошла работать аппаратчицей на комбинат. Петька тоже хотел вернуться, но мечта, проклятое зазнайство... И сама она не хотела. Кто сама — мечта? Ах, Шафига... Писала, что работа хорошая, всё, мол, в порядке. А в декабре случилась эта авария, утечка хлора или еще какой гадости. И, сам понимаешь, она кинулась спасать, ну и... Без противогаза кинулась; напарницу, которую она спасала, потом как раз и спасли, а ее... Вот так все наши мечты! Четверых ребят хотела родить. Все мы смеялись, как дегенераты, а она очень детей любила, говорила, в садик пойдет, няней, раз с институтом не вышло, но братья отсоветовали: на комбинате, мол, деньги большие, так соберешь на будущий год для Москвы...

— В этом я их не виню! Кабы знать, где упасть, да? — кричал он пьяно рыдающим голосом.— Но что никто мне

даже телеграммы не дал, не написали ничего... Представляешь? Я пишу ей, пишу, думаю, что случилось... Знаешь, я и сейчас иной раз ей пишу, сяду вот и пишу, пишу...

И все время он пытался «упасть на холм и зарыдать в траву», очень ему этого почему-то хотелось, я еле довел его до старого рынка. Здесь, на углу, поджидал его сын, совсем даже не акселерат, щупленький такой... Отца из моих рук он перехватил довольно привычно, видимо, не в первый раз встречал такого папашку.

— Пошли, пошли, чуда! — говорил, закидывая отцову руку себе на шею.— Вот будет тебе завтра от мамки!

— Что ты понимаешь! Я однокашника встретил, друга, понял? — лепетал Петька.— Вот встретишь лет через двадцать, тогда и...

Они прошли несколько шагов. На всякий случай я плелся сзади. Петька вдруг повернулся, чуть не повалив пацана на землю, и поманил меня пальцем.

— Чего тебе?

— Думаешь, я такой пьяный? — спросил он, пытаясь выпрямиться.— Нализался, думаешь, и не поехал к товарищу, да?

— Трезвый ты, трезвый, успокойся!

— А почему я к нему не поехал?

— Ну, почему?

— Боюсь,— сказал он без всякого куража, как-то вдруг тихо обмякнув.— Боюсь. Приедем — а там и вправду окажется, что все мы были дураки, а он один умный. И все у него, как хотел, да? Не-ет, пусть уж этот твой последний мечтатель так и сидит. В полненькой своей чашке, накрывшись тарелочкой, пусть! Понял?

— Пусть! — согласился я.

— Шафига не зря его терпеть не могла, она людей знала. Она... она удивительная была... А ты: «красотка»! Эх ты!

Иду наугад. Во дворах темь, запахи пищи и мусора, неожиданные кусты; на улицах яркий мертвенный свет, кривые сучья и мелкая резная зелень ленкоранской акации. Пряный гвоздичный запах невидимых ее цветов. Окрепший ветер гонит вдоль поребриков песок, выдувает остатки хмеля. Еще один двор. Какая-то собака с лаем бросается под ноги. Здесь гаражи, прохода нет, сворачиваю влево и выхожу к старой автостанции, в которой теперь цветочный магазин. Где-то тут мы и гуляли в тот Новый год. Вон, кажется, те стрельча-

тые окна... В одном горит свет, виден фикус, красные обои. Или левее? Не помню.

Стою, разглядываю в чужом окне фикус. И тут что-то происходит с моей головой. Как будто чуть тлевшая во тьме спиралька вспыхивает и заливает ярким светом своим всю округу.

Господи, какой я дуб! Так бы и хватил себя кулаком по лбу! Ну как же это я все, совершенно все позабыл! Ведь Петька же, господи!.. Да он же одной Шафигой и дышал, мы ж их врозь даже не видели. Ну да, ну да! И когда Бэлла, разбирая ее сочинение, стала что-то там говорить про четверых детей и карьеру актрисы, как он вдруг заерзал, наш Петька, как яростно выкрикнул: «Ну почему? А вдруг у нее муж будет хороший?» — и так покраснел, что даже из класса выскочил. Все заржали... Может, потому и заржали, что были уверены: Петька у нее и будет. Нам ведь тогда многое в жизни казалось решенным уже окончательно. Они и в Москву поехали вместе. На месяц раньше меня. Петька как-то, видать, уговорил своих, что ему надо, наплел небось что-то про курсы...

А в Москве... В Москве-то, наверное, и случилось что-то такое, о чем он говорит: ей, мол, стоило судьбу пальчиком поманить. Не поманив, она вернулась сюда, чтоб вскоре хлебнуть хлору, а он ничего не знал, учился себе конструировать самолеты, осуществлял мечту. И то, что он всё пишет ей письма, сидит вот иногда и пишет, это, может быть, вовсе не пьяный бред и не обмолвка...

Постоял еще минуту и пошел к морю. Ветер дул мне прямо в лицо. Я захлебывался, хватал его полным ртом, жадно и торопливо, чтоб как-то перебить то, что саднило душу. И он, совсем как когда-то, отдавал солью, водорослями и рыбой. Он туго наполнял душу прекрасной жаждой чего-то, чего не бывает на свете... Мне было горько и стыдно, а вместе с тем так отчего-то отрадно, как давно уже не бывало.

На следующий день я зашел проститься с Бэллой Рудольфовной.

Нет, сказала она, что ты! Зоя давно уже Симакова, дело у них, пожалуй, к серебряной свадьбе. Той осенью, после десятого, она родила. Сын был вылитый Вилька, но с Вилькою было плохо. Родители его уехали, сам он поступил на актерский, где-то, по слухам, даже снимался или собирался, что-то там такое, а Зое не писал ни строчки. Бэлла всегда Вильке мирволила, и даже тут ей казалось, что это какое-то все же недоразумение, молодые пустяки. Она ходила к Цаплиным —

поговорить, быть может, помочь, но ее попросту выставили. Вообще у Цаплиных было очень плохо. Зоечка металась, хотела отказаться в роддоме от ребенка, потом топилась, потом еще что-то... Словом, с ней было просто ужасно, а тут эта авария, похороны Шафиги,— с нею погибло еще двое, хоронили всем городом,— а через месяц, досрочно сдав сессию, примчался взмыленный Симаков. Родители его, конечно, все знали, а писали только: не встречаем, мол, не видим, просто чтоб парня не срывать с занятий. Потому что первый курс — это же так важно, и родители есть родители. В институт он не вернулся, дома жить не хотел, с ним тоже все было плохо, вот Бэлла и попросила его «поддержать Зою морально». Так это вышло.

Что же касается Октая, то он уже года два, как переведен на Украину. Служба его идет что-то не очень. Все еще майор, а детей много, кажется, пятеро. Так что, если дом его и полная чаша, то разве что в тех очень относительных масштабах этого понятия, которые были в ходу четверть века назад.

— Вообще-то действительно,— говорила она,— я не помню класса талантливей вашего, и столько у меня было надежд!.. Но какие-то вы оказались нежизнестойкие.

Я не возражал. Она старалась выглядеть бодро, хотя мешочки щек вздрагивали при каждом движении, сквозь седину проглядывала серая лысинка, а тесная и всегда нарядная квартирка старой девы уже производила впечатление некоторой запущенности. Силы были, видать, не те...

И молча на все это глядя, я думал о том, до чего ж неожиданно, путано и страшно складывается порой даже самая мирная и благополучная жизнь. Хоть у того же Петьки, к примеру. И как уж тут судить о жизнестойкости, и что это вообще за зверь — жизнестойкость?

Быть может, сведи меня вчера судьба-дорожка с тем, кто, несмотря ни на что, осуществил свою молодую мечту, было бы мне сейчас куда горше. Ведь...

«Осуществил, несмотря ни на что»... Да на что — не смотря? На смерть Шафиги? На Зойкино горе? Что ж... Были и среди нас умельцы шагать по несчастьям и трупам, но, слава богу, не так уж их было и густо. А в нашем классе, может, ни одного и не было.

А Петька — Петька и теперь еще в чем-то мечтатель, последний мечтатель из нашего класса.

ДАВНИЕ ДРУЗЬЯ

1

В последний раз, если не считать коротеньких полуразговоров где-нибудь в коридоре управления, виделись они в конце июля, когда Игорь, наконец, выбрался на дачу к Нечесовым.

Еще зимой, едва вернувшись с Севера, он случайно столкнулся с Вадиком в управлении, и, потискав на радостях друг друга, они с удивлением выяснили, что опять, как когда-то, пашут в одной конторе. Правда, «контора» была теперь громадная, целое объединение, а Вадька оказался довольно высоким, хоть и косвенным Игоревым начальством, что, конечно, будь это не Вадька, а кто-нибудь другой, неприятно напомнило бы об упущенных годах и многих житейских ошибках, но — Вадька, Вадька, надо же!.. Игорь только головой крутил от радости. Тут же договорились, что в ближайший выходной нагрянет он к Нечесовым с новою своею половиной, и тогда уж они...

Но потом прошла зима, Нечесовы переехали на дачу, промелькнула весна, а он все что-то тянул и сам не понимал, отчего тянет.

И вот они идут с Людой от станции, разморенные и слегка помятые в переполненной электричке, жмутся к заборчикам, невольно замедляя шаги на клочках блекло-серой, ни от чего не спасающей тени. На улицах душно, пусто и тихо. У перекрестка Игорь растерянно приостанавливается, и Люда промокает платочком пот на висках, вздыхает.

— Дорогу забыл? — спрашивает.

— Да нет, но как-то, знаешь, дико. Я ведь здесь — дай бог памяти — лет пятнадцать уже не был, если не больше. И как-то мне...

— А ты не нервничай,— говорит Люда.— Все будет хорошо, вот увидишь. Я им понравлюсь, они мне тоже.

— С чего мне нервничать?

Он хмыкнул и искоса, с интересом взглянул на жену.

Нет, он не то чтобы нервничал, с чего бы? Но какое-то внутреннее напряжение не отпускало его, потикивало, подрагивало в нем. Правда, Люда здесь ни при чем. Уж она-то понравится, еще бы! Но как-то неудобно: так давно их звали, они все не ехали — и вдруг... «Ерунда, впрочем! — думал Игорь.— Какая, к черту, неловкость! Вот, скажу, ребятки, не было б несчастий, так и старые б друзья не встречались.

Вера, конечно, испугается: что такое? А, скажу, подбросил мне твой благоверный этакое несчастьице по фамилии Привалов...»

Привалов был новым начальником того цеха, где Игорь работал старшим инженером-технологом. Вчера после обеда на третий участок пришли рабочие и, с разрешения нового начальства, стали ломиками долбить пол. Игорь даже глазам своим не сразу поверил.

— Вы! — задыхаясь, кричал он.— Вы понимаете, что такое вакуумная технология? Да вы знаете, что грамм пыли сделает с любой нашей установкой?

Привалов, топыря губу, не торопясь осмотрел его с головы до ног, спокойно сказал:

— Знаю. Испортит.— И ушел.

Через полчаса рабочих, однако, сняли.

Вечером, рассказывая это Люде, Игорь вдруг сказал, что о таком конечно же надо бы срочно переговорить с Вадькой. «Так поехали,— сказала она.— Нас давно звали». И теперь он был, пожалуй, даже рад, что так вышло, ибо побывать у Нечесовых и особо на даче ему хотелось. В том-то все и дело, что очень хотелось.

Вадька Нечесов, в пижамных штанах и сетчатой майке, полулежал в гамаке, натянутом меж старыми соснами, в их жидкой тени. Увидя гостей, попытался бурно обрадоваться, вскинул руку:

— О! Кого вижу!! — но, с трудом вывалив из гамака свое неповоротливое, жирное тело, вздохнул почти страдальчески: — О господи! Я, ребята, по такой жаре уже не человек. Растекаюсь...

Сосны, гамак — все было на своих местах. И просторный, в полтора этажа старый нечесовский дом был все тот же, вот только веранда... Игорь приостановился, оглядываясь.

— Да,— вздохнул за его плечом Вадька.— Вымер, друже, отцов виноград, вымерз. Еще при старике. Теперь такого не достать. Батя его с Дальнего Востока привез, уссурийский... Вот веранда и лысая. По такой-то жаре!

Поднялись на крыльцо. Вера всплеснула перепачканными красной смородиной руками (на столе у нее была привинчена соковыжималка), подбежала, подставила Игорю щеку: «О боже, ты все такой же!» — поцеловала Люду.

— Вот не ожидала! Какие вы молодцы! Как вы только добрались в такую жару? Людочка, я вижу, совсем еле живая...

— Ничего, сейчас оживим,— подмигнув, Вадька исчез в полутьме дома.

— Садитесь, садитесь,— усиленно суетилась Вера.— Вас, Людочка, я немного уже знаю, Вадик от вас просто в восторге.

— А ты совсем не изменилась, старуха!—сказал Игорь.— Немножко только...

Он чуть не брякнул о чем-то жалостном, растерянном, что появилось в ее привычно-суетливой худенькой фигурке, но она, слава богу, не слушала, говорила что-то улыбавшейся Люде.

Веранда была прокалена насквозь, пахло здесь перегретой, подтекающей краской, горячей пылью улицы и привядшими флоксами. Но все-таки, стоя у открытого окна, Игорь с мгновенной и тоскливой ясностью вспомнил, почти увидел за ним грозди мелких темно-фиолетовых ягод с налетом сизой металлической мути, нестерпимо кислых, и еще, тут же — шершавые лозы, остатки крупной ржавой листвы, октябрьский ветер, свистевший и тенькавший стеклами.

Еще не ходила сюда электричка, не было дачников, и Кузино, где он жил, было еще отдельной деревней за небольшим леском; они учились то ли в четвертом, то ли в пятом, школа была в бревенчатом бараке. Сюда он забегал рано утром, топтался на широкой влажной тряпке, чтобы не наследить, отогревал уши и ждал Вадьку. Дом этот тоже не был еще дачей, здесь жили круглый год.

— О чем задумался, Игорек? — позвала Вера.

— О винограде.

— Да, отцы ели виноград, а у детей оскомина,— провозгласил Вадька, неся к столу стаканы и запотелый кувшинчик морсу.— Прошу, господа. Уфф!..

Когда-то любил он вот так же, ни к селу ни к городу выпалить какую-нибудь «вумность» и так радостно, вкусно захохотать, что через полминуты вся компания лежала впокатушку. Теперь только вздохнул.

— А мы вот говорим здесь, какой Игореха молодец,— сказала Вера.— Возраст его даже красит, а?

— Еще бы! — отозвался Вадик.— Я его едва узнал, когда встретил,— идет красавчик, сияет. Думаю: Игорь — не Игорь? Да, Людочка,— вздохнул он,— в жизни нашего брата от вашей сестры многое зависит. Я вам скажу...

Игорь мимовольно напрягся, опять чувствуя в висках молоточки неясной тревоги. «Господи, да зачем же он? — подумал, быстро и незаметно взглядывая на жену. Она все улыбалась, но уже, показалось ему, как-то замороженно, отрешен-

но.— Ей же неприятно, ясное дело. И вообще, ничего не надо сравнивать с тем, что было. Неужели он не понимает?»

— Я смотрю, у вас тут перемены везде,— сказал он поспешно.— Обои вот понаклеили. А голое-то дерево красивей, а?

— Возни меньше,— пояснила Вера.— Дачу вообще гораздо лучше снимать, чем иметь.

— Браво! — деланно хохотнул он и даже прихлопнул себя по коленке.— Ты прямо фразами Полины Карповны заговорила.

— Разве?

— Н-ну?!

— Точно! — заулыбался Вадик.— Мама всегда стонала, дескать, дом — это такая обуза!

— Прекрасно! — еще более оживился Игорь.— За перекличку поколений непременно требуется выпить!

Он налил морс в стаканы и галантно поставил один из них перед Верой.

— Верунчик, я предлагаю тост!

— С морсом? — засмеялась она.

— Жара, Верунчик, в жару нет напитка прекрасней...— он остановился, набрал в грудь побольше воздуху.— Вот, ребята, сколько у каждого отшумело, какие у всех перемены! Эпоха канула! Динозавры вымерли! Но все-таки, все-таки, ребята, мы — вот они мы! Стоит за это, а?

Он затеял этот маленький театрик с тостом, чтобы отвлечь Вадьку, не дать ему сказать о прошлом что-то очень, быть может, ненужное, но, уже говоря, почувствовал вдруг, что и должен был сказать что-то этакое, что восторг его самый настоящий, и лучшей минуты для этого восторга может уже и не быть.

Вера всплеснула руками:

— Конечно стоит! — схватила стакан.— Ну...

— Узнаю! — Вадька поспешно поднялся, тяжко скрипнув креслом.— Узнаю лучшего тамаду политеха. Только минутку, друже, минутку! Что ж это я, как же...— засуетился он.— Надо же Жанку, сразу надо было, нельзя же!

— Какую Жанку? — сказал Игорь с невольным неудовольствием человека, в чью высокую, светлую минуту вторгается что-то совсем неподходящее.

— Что значит какую? Я тебе не говорил разве, что у нас...

— Жабку, что ль?

Короткий смешок колыхнул Вадькино пузо.

— Тс-с! Это ты не моги. Она теперь солидная мать семейства и не позволяет таких, знаешь ли, вольностей.

— Да-да, ты говорил...— вспомнил Игорь.

Жабка — это было что-то совсем смутное и, кажется, неприятное из дальней дали отрочества, детства даже. «Не надо ее сюда,— хотел сказать он.— Зачем?»

Но высунувшийся в окно Вадик уже звал каких-то Юрку, Кольку; тотчас во флоксах мелькнули и исчезли с веселым криком две рыженькие головенки, а через пару минут на веранде появилась и Жабка, то бишь Жанна Дмитриевна Зыбченко.

— По мужу, Игорек, я Зыбченко. Зыб-чен-ко! — зачем-то по складам радостно повторила она.

Она была в брюках, мужской полосатой рубашке, в очках с золотыми дужками — маленькая и скорее худая, но широковатая женщина с нескладно длинными руками, совсем незнакомая... И все ж, случись, Игорь, черт побери, узнал бы ее в тысячной толпе, несмотря ни на какие годы, потому что рот был все тот же. Она весьма искусно красила его, только самую середку тонких, подвижных губ, но стоило ей улыбнуться или заговорить, и сразу видна была прежняя Жабка.

— Как живешь? — спросил Игорь.

— Отлич-чно! — со вкусом пропела она.— Вадька тебе небось уже рассказал. Хорошая работа, чудесные дети, муж...

— Не то слово — муж! — сказала Вера.— Даже сюда, на дачу, он без цветов не является, представляешь?

— А как ты, Верунчик, думала? — растягивая рот, пропела Жанна.— У меня — не у тебя. Зыбченко дрессированный. Я его вот так,— и потрясла над головой кулачком.

Игорь не удержался, захохотал — вспомнилось, как когда-то она скакала по этой веранде, воинственно припевая: «Замечательно живу, Вадьке ухи оборву, Игорехе выбью зуб и нарву обоим чуб...» И еще — как Полина Карповна вносила ее письма...

— Ты чего? — удивился Вадик.

— Вспомнил! — хохоча, выкрикнул Игорь.— Письма!

— А... Было дело,— Вадик тоже заколыхал пузом.— Было...

Весной, когда они заканчивали, кажется, восьмой, а Жанка шестой, она куда-то уехала с матерью очень надолго. В сущности, с тех пор Игорь ее и не видел. Но Вадька потом все лето получал письма, где на обратной стороне конверта стояло неизменное: «Целую взасос!!!» Полина Карповна заносила их сыну, брезгливо прихватив за уголок мизинцем и большим пальцем, как нечто нестерпимо гадкое. Женщина деликатная, она не могла, конечно, открыть и прочесть, но... Если такое на конверте, то — о боже! — чего ждать внутри?

Пока Игорь пересказывал все это Люде, пока все смеялись, а Жанна вспоминала что-то еще, ребятишки ее притащили большую тарелку клубники.

— Сама вырастила, вот,— похвасталась Жанна.—В этом году редко у кого такая. Угощайтесь...

— Чего стало в поселке больше, так это клубники,— сказал Игорь,— а меньше — пацанвы. Совсем у вас тихо.

— И как всегда ты, Игореха, попал не по адресу,— хмыкнула Жанна.— Видел моих? Орлы! Я везде передовая.

Люда засмеялась.

Разговор у женщин теперь не умолкал, Люда рассказывала, как выращивают клубнику у них под Житомиром, как ее варят; Жанна что-то выспрашивала. Игорь прислушивался к разговору, не вникая в смысл, как к шуму, и шум этот был ему приятен.

Вадька тихонько ткнул его в бок шахматной коробкой и подмигнул:

— Давай?

— Можно.

Расставили, сделали первые ходы.

— Слушай,— сказал вдруг Игорь,— говорят, что с Приваловым — твоя идея. Верно?

— Нет! — Вадик вздохнул.— С Приваловым, старичок, комбинация сложная. М-да... Жертвуется фигура и пешка, а вторая проводится в ферзи! Привалов то есть,— он сделал ход.— Я же, как тебе известно, вообще предпочитаю игру позиционную, без жертв.

— Я так и думал,— сказал Игорь.

И больше ничего уже не успел. Жанна накинулась на них:

— Ну, нахалы! Уже уселись. Все на озеро собираются, а они...

Через несколько минут их и в самом деле потащили на озеро, даже доиграть не дали.

2

Тени перешли на другую сторону улицы, вытянулись чуть ли не до середины пыльной проезжей части, и уже, совсем как когда-то, носились мальчишки на велосипедах, а жара все еще не спадала. В лесу было даже суше, томительней.

Да и какой это был лес? От песчаной дороги, по которой они шли, то и дело отслаивались тропинки, кружили, скрещиваясь и переплетаясь, беря в кольцо чуть ли не каждое дерево.

Толстые, обшарпанные сотнями ног корни выпирали из утоптанной земли, и казалось, что старым соснам невмоготу, душно, они с натугой приподнимаются на цыпочки глотнуть вольного воздуха, но не дотягиваются и глухо ропщут на собственное бессилие.

Жара, сухмень и грусть маревом плыли по лесу и вместе с запахом горячей сухой хвои подбирались к слабеющему Игореву сердцу. Эта дорога помнила его босоногим мальцом, нескладным подростком, верзилой-десятиклассником в рваных кедах, и теперь каждый шаг по ней давался ему с таким трудом, что не хватало сил вникнуть, о чем он говорит — идущий рядом Вадька, и все отчаянней была духота, и ясно было, что не спасешься купанием, а надо что-то сделать с собой — может, рвануть ворот, крикнуть, что все равно не веришь.

Но чему не веришь... Чему? Тому, что юность давно прошла? Что этот вот толстяк в задирающейся на пузе хлопчатой тенниске — Вадька, а не один из тех дачников, что гуляли здесь четверть века назад?

Ах, как хорошо тогда мечталось дать деру с пыльных, тихих поселковых улиц, перевернуть, крутнуть этот шарик по-своему! Увы! — жизнь, словно в насмешку, дала полный оборот, и вот идет Вадька, привычно вытирая шею скомканным платочком, вздыхает, жалуется, с каким трудом удалось в прошлом году отремонтировать верх, как сложно теперь с материалами, так сложно, что он ничего бы и не сумел, если б не Жанна с ее связями и способностями.

— Уж этим-то летом думал отдохнуть, совсем отдохнуть, так на тебе — эта жара! В городе хоть в мороженицу зайдешь, холодной воды выпьешь, но тут...

— А помнишь? — перебил Игорь.— «Богатый нищий жрет мороженое...»

— Что? Ах да, чудесные стихи, да.

«Вадька, опомнись! — хотелось сказать.— Ведь это ты! Ты! Молодой, еще не толстый, с пепельным чубом, совсем недалеко отсюда, у танцплощадки. И Вера, завороженно заглядывавшая снизу в твое бледное от ярости лицо, и я сам, и все наши первые мечты, любови и ненависти, вспыхивавшие сокрушительно и неожиданно».

— А что танцплощадка? — спросил он вместо этого.— Все там же?

— Не, та давно сгорела.

— Как сгорела?! — Игорь даже приостановился.

— Легко, как все деревянное. И давно уже, лет десять, там теперь малина разрослась...

— Слушай! — сказал Игорь.— А ты помнишь, как нас всех в милицию загребли с танцев?

— С танцев?

— Ну? Тогда твист-то запрещали. Мы его и не умели, но танцевали из принципа! И забрали одного Володьку, а мы пошли тоже из принципа — все! Нас всех и заперли, пока твой батя не приехал.

— Да-да, смешные мы были. Сколько щенячей гордости!..— Вадька вздохнул.

А Игорь замолк, пригорюнился, думая, что и те, давние дачники тоже, верно, иногда вспоминали, какими были смешными, вздыхали... Среди них было много толстяков, а толстяки любят вздыхать, принимая свой вес за тяготы жизни.

Женщины шли чуть впереди, оживленно болтая; рыжие Жанкины мальчишки носились по лесу, самолетно раскинув руки и гудя на все лады. И вообще все было очень похоже.

На опушке остановились. Внизу лежало светлое озеро, подернутое блескучей рябью. Купы зелено-серого ивняка то тут, то там припадали к воде, а дальше — по верху окрестных холмов — опять стояли леса, почти голубые и как бы струящиеся в жарком, обескрашенном небе.

— Взгляните, Людочка, правда, прелесть? — Вера с восторгом повела рукой.

Люда послушно улыбнулась, кивнула.

Улыбка получилась вялой. И на виске, возле голубой жилки, которую Игорь так любил, поблескивали бусинки пота. Ему хотелось подойти, взять за руку, спросить, не устала ли?

Но не подошел. Это тоже подозрительно напоминало бы известную по той, давней жизни картинку, которая называлась: «Молодая жена и пожилой муж, готовый ее на руках носить, ну, знаете, буквально на руках». Нет, он не Вадька, он еще побудет непохожим!

Когда раздевались,— Игорь был уже в одних брюках, без босоножек и тенниски,— вдруг резко дохнуло прохладой. Ветер прошерстил прибрежный ивняк, кусками выворачивая наружу серебристо-серую подкладку листвы. Все оглянулись: большая черная туча быстро вырастала по-над лесом, все время как бы перекипая своим светлым, вспененным краем.

— Господи! — испугалась Вера.— Ведь чуяло мое сердце! Как цуцики вымокнем...

Игорь же внезапно и беспричинно развеселился:

— Не мокрей воды будем, старуха, не мокрей!

— С Вадькиным сердцем только и купаться в грозу, много ты понимаешь! — Вера сердито схватила свой халатик, но

бежать было бессмысленно.— Ох... Черт с вами! Но ведь все мокрое будет, грязное, ужас, ужас...

— Не будет,— Жанна вытаскивала из сумки объемистый рулончик полиэтилена.— Ну? Что б вы без меня делали? А? Шмутки сюда, и все будет тип-топ!

— Ты гений! — Вадька пытался перекричать ветер, который снова дернул и, словно примериваясь, наискосок стрельнул редкими каплями, бесследно исчезнувшими в раскаленном песке.— Ух он и врежет сейчас,— захохотал.— Спасайсь кто может!

Он бежал вниз, и белое пузо подпрыгивало впереди, почти отдельно от хозяина, а рука была вскинута так, будто на этом откосе все еще гремели лихие «чапаевские бои». Не хватало белого ивового прута, заменявшего тогда шашку. Игорь было хмыкнул, но тут же та, давняя радость колыхнулась в нем и будто толкнула в спину. Он побежал, гогоча, легко обгоняя запыхавшегося приятеля.

— Господи, только не убило бы никого,— сказала Вера, стоя уже в воде, но тут же брызнула на мужа из-под руки и засмеялась: — Вадька,— закричала,— сколько лет мы с тобой не купались в грозу?

— Сто, старуха, тысячу!

Косое солнце блестело в ее мокрых волосах, скрывая седину.

Гром гаркнул на них, распарывая тучу, приоткрывая на миг мрачную ее клубящуюся толщину, и оттуда, как из вдруг распахнувшегося громадного ледника, дохнуло зимой.

— Мамочки! — закричала Люда.— Бою-усь! — и бросилась прочь.

— Постой!

Тяжелые резкие капли высекли крохотные фонтанчики у самых его глаз, слепили, мешали крикнуть, а она уходила саженками, легко рассекая воду.

Дождь усиливался с каждым ударом грома. Солнца уже не было. Серая вода кипела вокруг. Игорь хотел крикнуть жене, чтоб поворачивала, что там дурной берег, ил, но так и не крикнул.

— Ты чего это вздумала, а? — уже за кустами, наконец-то догоняя и пытаясь ухватить ее, спросил он.

Она ловко увернулась, стала на ноги. Волосы ее выбились из-под шапочки, намокли.

— Ты что — всерьез испугалась?

— Не-а! Просто мне захотелось с тобой, а то ты все с ними и с ними...

Он крепко обхватил ее плечи, целовал в закрытые глаза.
— Дурочка,— говорил,— ревнючка.
— Вовсе нет. Вера милая женщина и даже очень похожа на мою маму, но мне с ней все равно скучно.
— Они тебе вправду нравятся?
— Кроме рыжей.
— Да? А кто тебя привел на озеро?
— Сама пришла.
Она присела, по горло прячась в воду от холодных струй, секущих по плечам, и еще плотнее прижалась к нему, вся мелко дрожа.
— Замерзла? — спросил Игорь.
— Не-а! Как ты думаешь, нам где-нибудь отдельно постелят или у них все сдано?
— На чердаке, наверное. Подойдет?
— Я уже жду, слышишь? — она шепнула и вдруг, хохотнув, с силой оттолкнувшись от него ногами, поплыла назад.

3

Опять стало над лесом солнце, уже низкое, бронзовое. Со всех сторон бежали к озеру ручьи, неся мелкий мусор и серую пену. Косые красноватые лучи пронизывали сосновые кроны. В низинках уже копился чуть видимый туман. Мокрый песок дороги приятно пружинил под ногой.
— Надо же,— говорил Игорь Жанне,— эк ты... с полиэтиленом-то! Кто бы мог подумать, что с нами такой гений?
— А ты думал — что? По-прежнему вы с Вадькой гении, а я дурочка? Дудки-с!
И все почему-то смеялись, даже мальчишки Жанны хохотали, приседая и показывая пальцами друг на друга.
К середине лесной дороги немного успокоились; женщины опять ушли вперед, а Вадька пыхтел рядом и, видимо, философствовал — взмахивал руками, вздыхал, даже забегал чуть вперед... Но Игорь никак не мог заставить себя вникнуть, о чем же он говорит. Слишком легко было на душе, покойно, радостно, и все, что шло извне, казалось ненужным.
Легче было поддакивать и исподтишка разглядывать Люду — ее цветастый, чуть смятый понизу сарафан с белыми кружавчиками и темными пятнами влаги на лопатках, ее красные босоножки, которые она несла, помахивая чуть согнутой у бедра рукой. И особенно следы — маленькие, узкие. «Какая походка,— думал Игорь,— какая легкость,

настоящий дар легкости... И с обеими она уже как давняя подруга, надо же!»

Его всегда восхищала эта непостижимая способность жены — легко, быстро, радостно сходиться с людьми.

В середине зимы, когда они приехали из своего Заполярья, собственная комната, закрытая пять лет назад и заросшая паутиной, показалась ему такой дикой и грязной, а подозрительные взгляды соседей, каждый из которых уже, видимо, имел на его комнату свои планы,— такими недобрыми, что он невольно почувствовал себя настоящим извергом, когда вынужден был оставить Люду одну.

Вернулся часа через четыре; комната была уже совсем жилой, даже привычной: стол накрыт скатертью, на тарелке нежно-розовые бутерброды с колбасой... Но добила его соседка, старая карга Дина Сергеевна — она стукнула в дверь чуть-чуть, одним коготочком и почти пропела: «Людочка-а! Чайник вскипе-ел!» — и такое было в этом голосе искреннее доброжелательство, даже любовь, что Игорь с изумлением посмотрел на жену.

И сегодня ему особенно счастливо думалось обо всем этом, ибо за каждой мыслью, как музыка за экранной картинкой, звучало еще и то, что она лукаво шепнула на озере. Он чувствовал себя молодым и легким не по чину, и тем, что это было все-таки не по чину, сверх всякой нормы, слегка тревожился.

«Господи, какой, должно быть, идиот был ее первый, бросивший... Зеленый идиот! Да и зачем он мне? С чего это я вдруг вспомнил о нем?» — думал он, как бы отталкивая и пытаясь не заметить этот неожиданно нащупанный на самом дне души крохотный, нерастворимый кристаллик горечи — то ли память о прежних, то ли предчувствие новых разрывов? Нет, скорее все-таки память... Ведь что за тоска подкатывала, мучила сердце его по дороге на озеро? Что она такое, если не память, не боль того множества разрывов, что отделяло теперь от него собственную юность и всю былую жизнь в этом поселке и этом лесу?

Но — к черту, к черту! Радость и легкость, исходившие от этой пружинящей под ногой дороги и мокрого, прошитого закатным солнцем леса, от Людиной руки, помахивающей красными босоножками, снова и снова, как бы волнами, омывали его сердце, истончая донную его горчинку и подсовывая совсем другие мысли: а так ли уж неизбежны эти разрывы? Вот Вадька, например...

Или безо всяких мыслей Игорь вдруг отчетливо, как на экране, видел Веру, бежавшую стометровку на школьном ста-

дионе. Черные косы с белыми бантами вольно летели, струились по ветру... Она была такая легонькая, худенькая, отчаянно смелая.

Летом после десятого они с Вадькой наворовали ей яблок у Иванченков. Она сложила их в корзинку и отправилась к пострадавшим. «Замечательные яблоки. Где вы их только купили, Верочка?» — «Угощайтесь, Марья Андреевна. Это мне мальчики у вас натрясли!..» Что было! Сколько смеху...

— Чему ты все лыбишься? — спросил Вадим подозрительно.

— Тебе!

— В каких бы это смыслах?

— В тех, что вот... ты по-прежнему здесь, и женат на Вере, и по-прежнему один дружишь со всеми нами, разошедшимися, растерявшимися... А? Ты знаешь, я вот подумал, что все это из юности, без всяких потерь, протащить с собой до сорока четырех — это, по-моему, не просто везение, хотя тебе и везло, это...

— Э, друже, если бы еще и вправду без потерь,— перебил Вадька.— Нашу жизнь и вообще-то следовало бы изображать в виде разомкнутой кривой — уход и возвращение... Понимаешь?

— Не очень.

— А ты представь...

Но не было уже охоты это представлять, не было. Все было и без того прекрасно.

Ужинать сели на веранде, уже в сумерках, которые наступили досрочно,— небо вновь заволокло тучами, не шевелясь, стояли притихшие деревья, а флоксы пахли так, точно торопились отдать весь запах до дождя. Отчетливо был слышен чей-то далекий магнитофон: умерший на днях певец заходился в неистовом хрипе предчувствий: «не дожить, так хотя бы допеть...»

Все вокруг было грустным, а грусти не было.

— Помнишь ивaченковские яблочки? — спросил он у Веры.

Та вскинула брови, но тут же и расцвела, всплеснула руками.

— Ой, конечно! Когда я их несла, меня прямо распирало от гордости. Они ж всему поселку свою собаку расхваливали.

— Какую собаку? — удивился Игорь.

— Барса, Барса,— сказал Вадька.— Не помнишь? Я его колбасой с люминалом угостил, а то б были нам с тобой яблочки!

— Точно! Но надо же: я и забыл! Думал, так все помню хорошо, а про собаку-то и забыл.

И вот тут, среди этого... Игорь потом даже вспомнить не мог: из-за чего это она? О чем говорили-то? Казалось, совершенно без повода Жабка вдруг ожгла его ненавидящим взглядом. Только на секунду встретились их глаза, но он успел ясно ощутить и этот болезненный ожог и недоумение; за что, почему?

— Боже мой,— сказала она с такою тоской и презрением, что он даже голову в плечи втянул,— да ты, я гляжу, все такой же! Всех учишь жить, шпыняешь, разглагольствуешь и даже не замечаешь, до чего это бестактно! Пора бы повзрослеть, мой милый.

— Ты же не повзрослела,— огрызнулся он,— все такая же язва!

— А ты что хотел?

— Ну-ну-ну, что вы,— ошалело пробормотал Вадик.— С чего?

Потом это как-то сгладилось. Кажется, Люда нашлась, как ни в чем не бывало спросила о чем-то у Веры, и опять посыпались воспоминания, хохмы... И утонула в них, забылась и эта непонятная вспышка, и отравная донная горечь лесной прогулки.

Вспоминали Михнева, Сидорчука, прочих институтских ребят, профессоров, первый стройотряд, Вадькины ссоры с отцом. Тот был мужик крутой, властный: сам пытался подбирать сыну книги, профессию, жену. Они ссорились насмерть и помирились лишь незадолго до смерти старика, лет десять назад.

— Да, были когда-то и мы рысаками. Ах, но все-таки золотое было это времечко — конец пятидесятых,— вздыхал Вадька.— Вечера поэзии, песни о кострах, у костров; у всех планы непременно куда-то подальше уехать! Даже сейчас — вспоминаешь, и сердцу просторней. Но если трезво, то — что мы, вырвавшись, нашли, к чему приехали? — Он причмокнул и развел пухлыми руками.— Наши геологи все по министерствам, туристов не осталось, а вот дачевладельцев поколение породило уже много. Вот так! Даже у Королева и Зорина, наших служителей муз, совсем неплохие дачи, а уж они-то — помнишь? — клялись, что назло всем умрут в нищете, ибо иначе музам служить нельзя. Так что... может, зря мы и ссорились с отцами?

— Да, кстати, где твой Аркашка? — вспомнил Игорь.

— В городе. У него консультации.

— Да, он же поступает! На филфак, да? Странно, понимаешь, что у всех взрослые дети, а у тебя самого...

— Пустяки, старина! Считай, что ты просто моложе.

4

Спать их с Людой уложили действительно на чердаке, но не в том мезонинчике, что отводился гостям в былые времена,— там обитали теперь Жанкины ребятишки,— а рядом, в тесном чуланчике с косыми балками и незастекленным окошком. Рыжий, обитый сухой, потертой и потрескавшейся кожей диван, стоявший здесь с незапамятных времен, был просторен и мягок; падал в окно лунный свет, голубоватая тень березовой ветки лежала у Игоря на плече. Люда водила по ней пальцем. Влажный ночной воздух перебивал сухой запашок чего-то пыльного, лежалого. Слышно было, как с крыши скатывались и падали в желоб последние медленные капли. Вдалеке отчетливо простучала электричка.

— Как тут тихо,— вздохнула Люда.— Это последняя?

— Наверное. Не знаю.

— Все-таки, знаешь, хорошо что мы поехали, правда?

— Я ж говорил, отличные ребята! У них я бывал и в свои трудные времена...

— Ты рассказывал. Вера совсем как моя мама — хлопотунья и за всех боится. Вадик смешной: такой большой, толстый, а все еще Вадик... правда? А Жанна, она им что — какая-то родня?

— Жанна? Тут сложно объяснить. Сейчас так, по-моему, и не бывает.

— Как?

— Ну, сейчас домработница — это домработница, подруга — подруга, а тогда совмещалось. У Полины Карповны самой закадычной подругой и домработницей была Жабкина мать.

— Чья?

— Ну, Жанки, Жанны Дмитриевны! Это ее за рот всегда Жабкой звали, в детстве даже не обижалась.

— Подходяще! — хмыкнула Люда.— Вы были не лишены...

— Мерси! Так вот, она жила здесь с Жабкой сперва в домработницах, потом замуж вышла, но все равно летом приезжала сюда. Может, снимала, может, так просто...

— Снимала,— сказала Люда.
— Ты откуда знаешь?
— Вера говорила. Когда после смерти отца они с Вадькой тут первое лето хозяйничали, эта Жабка откуда-то и взялась. Пришла, то-се, воспоминания... Под шумок и сняла за полторы сотни в сезон, как мать ее когда-то. Так до сих пор и платит по нахаловке.
— Почему же по нахаловке?
— Цены-то давно другие. Люди за такие две комнаты дают пятьсот, а то и больше. А она — хоть бы хны. Вере сказать, конечно, неудобно...
— Ладно, это их дело,— перебил Игорь.
— А я что? Слушаю всех и помалкиваю,— Люда вдруг засмеялась беззвучно.
— Ты чего? Смешинку съела?
— Представляешь, из моих знакомых никто никогда не имел живой домработницы!
— Это ты просто молодая. После войны и не в таких уж богатых домах были. Тем более Вадькин батя был шишкой: директор завода! — поглаживая ее плечо, Игорь принялся рассказывать, как все здесь было когда-то совсем по-другому, какой, например, было сенсацией для всего поселка, когда у Вадькиного отца появился «Москвич».
Говорил он об этом почему-то шепотом и пока говорил, та, давняя жизнь дачного поселка, в юности вызывавшая лишь брезгливое полупрезрение, казалась теперь невообразимо прекрасной. И чем лучше она ему казалась, тем ироничней старался он говорить.
— А Полина Карповна писала картины маслом, одна даже у нас в школе висела: Черный ручей у поворота, только не очень похоже. Конечно, какая она была художница? Так просто: муж — шишка, деньжата есть... Но вечно у них всюду этюдники, кисти валяются, перепачканные красками тряпки, мольберт на веранде стоял...
— Одной, выходит, все очень возвышенное, для души, а черная работенка — другой. И называется: подруги. Ничего себе... Впрочем, у них, кажется, и сейчас похоже.
— У кого? — не понял Игорь.
— Да у Вадика твоего с Жанкой. Полы она им не моет, понятно,— сейчас черная работа другая: тес ворованный покупала для ремонта, краску; ходила скандалить, когда им участок хотели урезать... Что-нибудь там из-под полы достать — это тоже по ее части.
— Вадька такими делами никогда не занимался.
— Еще бы! Мамочка рук не марала, он — души.

— Не загибай, Людка, не загибай! Вадька знаешь какой человек! — Игорь немного даже рассердился, притиснул к себе жену: — Цыть мне!

— Пусти! — дернула Люда плечом.— Мне что? Если им так нравится... Только уж очень она некрасивая. Такой рот — еще она его только открывает, а уже будто гадость сказала. Как ее муж-то целует?

Игорь засмеялся.

— Вот это загадка! Впрочем, ее и Вадька целовал. Не веришь?

— Вадька? После Веры?

— Ну что ты! До... Задолго до. Мы еще совсем салажатами были. То ли между шестым и седьмым, то ли седьмым и восьмым. Где-то тогда. Лето дождливое — так вот вспоминаешь, и всю дорогу мы в сарае или на чердаке здесь, и все время дождь, дождь...

— Мы? Ты тоже с ней целовался? — Люда даже чуточку отодвинулась.

— Я — нет,— он прижал ее снова.— Слушай, чудачка, это смешно. Слушаешь?

— Давай,— Люда сладко потянулась, зевнув,— давай.

— Я коротко. Так вот, Жабку эту — она на два класса нас младше была — пацанва всячески притесняла. В игры ее не брали, подзатыльники, насмешечки... Вадька, тот тоже на улице не котировался: жирноват, в очках, но у него был один беспроигрышный козырь — книжки рассказывать. Этим он всех брал. Читал уже романы и все такое, но еще как-то по-мальчишески. Прочтет и непременно хочется ему этакое и в жизни устроить. В «Идиоте» его поразила история одной девушки — помнишь, Мышкин рассказывает о ней генеральше? — которую все обижали... Ему тогда хотелось стать Мышкиным — ну просто вынь да положь! Даже жалел, что не припадочный. А так как больше всех у нас обижали, конечно, Жанку, то он и решил, что полюбил ее возвышенно и братски, точно князь Мышкин. И вот,— скажи, пожалуйста! — нам было лет по пятнадцать, а ей-то совсем ничего. Она, знаешь, еще и оформляться, ну, как девчонка только-только начала, но сразу же объявила, что никакой любви «просто» не бывает, а если он в самом деле в нее влюбился, так надо целоваться. И целовались. Она еще Вадьку и учила, представляешь?

Люда не отвечала. Дыхание ее стало совсем бесшумно — только теплый воздух приливами щекотал Игорево плечо.

— Спишь? — на всякий случай спросил он.— Ну спи...

Чего тебе, правда, до этой истории? Ты и родилась-то еще через четыре года...— он вздохнул, погладил ее плечо и тоже закрыл глаза.

Но не спалось. Думалось о Людином детстве, в котором все, наверное, было другим — игры, родители, чердаки... Каким? Странно, они никогда не говорили об этом — встретились уже взрослыми, битыми, не удержавшимися в прежней своей жизни.

Может, оттого их так и прижало друг к другу, что там, на Севере, каждый был совсем отдельным, ничем и ни с кем не связанным человеком, перечеркнувшим прошлое, еще без будущего... Вот уж состояньице — врагу не пожелаешь!

Он осторожно высвободил руку из-под отяжелевшей во сне Людиной головы, закурил — спать совершенно расхотелось — и стал думать о своей жизни, о первой жене, о том, как однажды, когда все с ней было уже слишком ясно, он заявился ночью к Вадьке, на его старую еще, крохотную квартирку у парка Победы — пьяный, растерзанный, с рассеченной губой,— и как его раздевали на кухне, успокаивали, а он плакал, каялся в чем-то и все твердил: «Она меня топчет, топчет, топчет!» И так при этом бухал в пол ногами, что проснулся Аркашка и чуть ли не прибежали соседи. Он даже потрогал шрамик над верхней губой, оставшийся с той ночи, с той, неведомо с кем драки, но привычно-мучительный стыд так и не явился — все это уже стояло в памяти отдельно, точно и произошло-то не с ним, а с кем-то не очень близким.

Странно было другое: Люда все это в общих чертах знает, но больше всего он сегодня боялся, как бы Вадик или Вера не заговорили о тех годах. Может, он потому и не ехал сюда так долго, что прежняя жизнь и теперешняя давно разошлись в его душе, и встреча их казалась ему совсем ненужным, даже опасным делом. Его тянуло сюда, как тянет заглянуть под обрыв. Но встреча произошла, и ничего страшного, и Люда всем очень понравилась...

«Ну, это еще бы! — думал Игорь.— А что такое она о Жабке сейчас говорила... Она наблюдательная, Людка. Ну, бог с ними. Странно все-таки, что Вадька с ней дружбу водит, с Жабкой...»

Он не спеша загасил окурок и, повернувшись, скомандовал себе спать. Сквозь крепкую дрему, сквозь какие-то плывущие уже перед глазами серо-зеленые линии вдруг опять вспомнилось, как здесь же, на этом диване, Жабка учила Вадьку целоваться взасос, а он со старым отцовским хронометром сидел в дальнем углу и от нечего делать засекал про-

должительность поцелуев. Шуршал дождь, боялись, что может подняться Полина Карповна... И сердце стучало навылет, хотя целовался не он, а Вадька, да и то — с Жабкой.

Потом он как-то спросил у Вадьки, что он — без булды если — чувствовал, целуясь, и Вадька, честнейшая душа, сказал одно: «Душно очень!»

«Да, душно,— успел он подумать прежде, чем окончательно провалился в сон,— и дрессированному Зыбченко, наверное, душно и многим другим. Мне тоже было... С Аней. И многим, многим — да. А сегодня гроза, чистый воздух, Люда... Хорошо!»

5

А потом было долгое, бездельное дачное утро и завтрак, после которого Игорь почувствовал себя отяжелевшим и вялым, а тут еще опять занималась жара, духота. Небо подернулось какой-то ряской мути, полупрозрачной наволочи, воздух под ним застыл, точно вода в пруду.

После завтрака никто с веранды не ушел. Женщины принялись колдовать над ягодами, мужчины сели за шахматы.

— М-да,— тянул Вадька, замедленно передвигая коня и как бы ввинчивая его в новое место.— Теперь тебя, брат, голыми руками не возьмешь, нет, усилился ты на своем Севере, у-у!

— А что делать было? Водку там пить нельзя — похмелье слишком тяжелое, вот и...

— А почему?

— Что почему? Похмелье? Кислороду маловато.

— А как же спирт? Пьют?

— Спирт — это зимой, когда замерзаешь,— Игорь помолчал и усмехнулся.— Или от дури.

— А-а,— протянул Вадька.— Сто-оющее лекарство.

Он смотрел на доску; губы, вытянутые хоботочком, шевелились, пауза затягивалась.

— Стоющее! — с вызовом сказал вдруг Игорь.— Не от всякой, правда, дури помогает. Дурь — она ведь, старичок, у кого в чем: один водку пьет, другой дураков в начальство двигает.

Первое, о чем Игорь подумал, проснувшись в этот день, это затевать или нет новый разговор о Привалове? После купанья с Вадькой в грозу, после всех воспоминаний и разговоров ему не то что показывать — даже помнить не хотелось,

будто была еще какая-то, отдельная от всего этого, цель приезда. Да и стоит ли? Вадька не бог, а Игорь не мальчик, и, слава богу, не впервой ему приходится работать с дураками. «Не стоит,— решил,— уж как-нибудь...»

Но теперь в шевелении пухлого хоботочка Вадькиных губ ему почудилась скрытая усмешка, подкалывающая его чем-то давним и стыдным, и он, не думая, с автоматизмом самозащиты, уколол в ответ первым попавшимся на язык. А осознав чем, тотчас забыл о своем утреннем решении и весь подобрался, напрягся в ожидании спора.

Вадька даже голову поднял не сразу. Светлые, выпуклые, недоумевающе-бараньи глаза его уставились на Игоря поверх сползающих на потном носу очков.

— Ты про Привалова? Я его не двигал — просто согласился. Согласие же, друже, есть тот случай, когда глас твой, к сожалению, не перекрывает другие. М-да...— он взял двумя пальцами пешку и осторожно ввинтил ее в новое поле.— Вот так!

— Да ведь он дурак,— сказал Игорь.

Вялое Вадькино спокойствие как-то передалось, лишило фразу напора и злости.

— Возможное дело, хотя в служебных характеристиках это не значится. Там стоит: энергичен, старателен, может навести дисциплину, исполнителен... Вот про тебя никогда не напишут: «исполнителен», у? Ну, а как инженер — это, конечно, ноль, почему и примите наши соболезнования.

— Соболезнования — это уже кое-что.

— Чем богаты, чем богаты...— покивал Вадька.

Игорь уставился в доску, будто бы обдумывая положение фигур, но почти не видел их, поглощенный внезапной досадой. «Глупо! — думал.— Вышло, будто я почти жалуюсь, так сказать, капаю руководящему приятелю... фу! Но и Вадька хорош гусь — этак спокойненько...» Досадно ему было именно это спокойствие, но он никак не мог понять отчего — тяжелый волнообразный гул у самого уха все время путал, сбивал с мысли. Черный, в оранжевой мохнатой жилетке шмель метался и с маху щелкал о стекло. Игорь встал, прикрыл одну створку окна и вяло махнул рукой. Шмель мигом исчез, протрубив победу.

— Ты чего? — удивленно поднял глаза Вадька.— Ход-то твой...

Садясь, Игорь подумал, что после партии надо бы домой: «Вчерашнее кончилось, хорошего понемножку...»

Но они даже доиграть не успели — у калитки показался Нечесов-младший, Аркашка, и Вадик сразу обо всем забыл, кроме сына.

Вера вынесла чадушке тарелку зеленых щей: «Сначала поешь!» Но Вадька торопил: «Ну же, что новенького?» И Аркашка, прихлебывая щи, принялся поливать родительские головы страшными новостями университетских курилок.

— На английскую литературу уже четырнадцать человек на место. Фимка Олесов посмотрел, забрал документы и отнес в пед. Нинка говорит, уже и списки видела. У нее знакомая в предметной комиссии...

— Фима? — Вера в ужасе прижимала пальцы к вискам.

— Да чушь! Списки! Какие списки?..— сердито фыркал Вадик, бегая по веранде.— Экзамены не начались, а у них уже списки!

— Говорят...

— Говорят! Да ты сам бы подумал: если кого-то и берут по знакомству, так это ж тайком. Нет, ты посмотри, они списки выдумали! Пф!

— Перестань,— отмахивалась от него Жанна,— перестань! По блату идут многие, и ты ребенку мозги не пудри. Я ж тебя отлично знаю: ты сейчас просто прикрываешь свою беспечность.

— Какую беспечность? Он всю зиму с репетитором занимался!

— Иди ты со своим репетитором! Ребенок раз в жизни поступает, так он не мог...

— А почему раз в жизни? — перебил Игорь, все еще сидя за шахматным столиком. Он и сам оживился, глядя на этот внезапный семейный переполох.— Даже до армии Аркашка имеет шанс поступать дважды, а уж после...

— Господи! — всплеснула Вера руками.— Не дай бог! Типун тебе на язык.

— А что такого? Да ты себя вспомни!

— Оставь, Игорь, при чем тут я?

— Нет, ребятки, вправду? — он вскочил, прошелся.— Ну что нам были конкурсы? Сам черт нам был не брат! Проваливались, поступали снова, эх!..

Вадик кисло улыбнулся.

— Набивали шишки, наминали бока.

— Ну и что? Какая ж юность без синяков, чудак ты? Вся прелесть жизни — чтоб чувствовать себя таким, знаешь,— уфф! А то оправдываются заранее: ко-онкурс-де, по блату много,— кривя рот, протянул он.

— Я не оправдываюсь, с чего вы взяли? — краснея, бормотал Аркашка.

— Батька твой в свое время провалился, пошел в дорожные рабочие, да притом еще жениться не побоялся, а я...

— А что ты? — перебила Жанна.— Пример для молодежи?

— Пусть не пример...— Игорь повернулся к ней, замолк и невольно отступил на шаг, наткнувшись на вчерашний ее, ненавидящий взгляд.

— Ты всю жизнь из себя гения корчил, всех поучал, а что из тебя вышло? Обыкновенный инженеришка? Да? — она презрительно отвернулась, не ожидая ответа.— Ты, Аркашик, дерись, жизнь боками чувствуй, а папочка с дядечкой пока в шахматы поиграют! У них, видишь ли, теория... Да вы оба просто лодыри. И все ваши принципы и умные мысли от лени! Человеку помочь надо, а не сказками кормить, понял? — это она уже на Вадьку накинулась.

— Да кто ж ему поможет, кроме знаний и некоторой доли наглости? — забыто усмехаясь, спросил Игорь.

— Вот-вот! Как, оказывается, удобно быть принципиальным! Никому не надо помогать, ничего делать.

Жанна стояла посреди веранды и, поворачиваясь то к одному, то к другому, коротко взмахивала кулачком, будто отбивалась.

— Из-за каких-то дурацких принципов портить жизнь собственному ребенку! Это ж надо!

— Да почему ж портить,— попытался заступиться Игорь, но Люда, оказавшись рядом, сжала его локоть: «Я тебя прошу...»

— Ну, допустим, нет у меня принципов,— Вадька повертел над головой растопыренными пальцами, как бы демонстрируя, что в них и вправду чего-то нет...— Все, нет, выкинул, в карман спрятал! И что? Блат у меня появился в университете?

— Ах бедненький, знакомых у него нет!

— А представь!

— Так найди! Мужчины называются,— фыркнула Жанна.— Только и умеете, что рассуждать, какие вы хорошие, а другие-де проходимцы! Такие-де пролазы, у-у! А конечно! С таким-то животиком куда пролезешь? — ткнула она кулачком в Вадькину сторону.

На секунду повисла тишина, Игорь успел обвести недоумевающим взглядом согнувшегося над тарелкой Аркашку, Веру, Вадьку в кресле...

Когда в десятом классе Вадька снова начал полнеть, то в жизни его не было, кажется, худшего горя! Вся их тогдашняя компания,— пусть в ней кое-кто уже и гонялся тайком за модными тряпками, так ведь это еще тайком! — сплошь бредила дальними походами, экспедициями, рюкзаками и свысока презирала всех благополучных, богатых, а следовательно, и толстых. И Вадька — больше, громче всех. Нельзя было уязвить его сильнее, чем напоминанием о собственной полноте. Вера тигрой кидалась при малейшем намеке...

«А теперь? — думал Игорь.— Да что же это? Или Люда вчера говорила правду, и они ждут, чтоб Жабка взяла на себя грязненькое дело приискания блата? А?»

— Вы всё: мы! мы! — говорила Жанна.— В наше время все было проще, а сейчас хочешь не хочешь — надо вертеться. Вот Зыбченко у меня — он знаете как крутится? Красивые ваши принципы хорошо за чаем развивать, а как до дела... Знаете, кому неудобно свои житейские дела устраивать? У кого принципы? Дудки-с. Все принципы оттого, что дела уже более-менее устроены. И не пытайся спорить, Вадька! Вот пожил бы с двумя детьми на шестнадцати метрах, так не постеснялся бы говорить за себя! И хитрить не постеснялся бы. А я с детства приученная, что за меня только я и говорю! — Жанна разошлась, стала зачем-то рассказывать, как они с Зыбченко выбивали квартиру, на что только не пришлось идти ради этого!

Все молчали, хотя в сущности один Аркашка внимательно слушал ее. Он даже отодвинул опустевшую тарелку и слегка приоткрыл рот.

Стоя у распахнутого окна, Игорь всем существом своим чувствовал давящий на затылок жар и какую-то особую, наждачную сухость воздуха, от которой першило в горле и колотилось сердце. «Это ненависть,— вспомнил он,— это уже было».

Так же жарило по лопаткам солнце, до того злое и яркое, что там, куда он заглядывал через распахнутое окно, в глубине узкой, сумеречной угловой комнаты, все было обведено зеленоватой радужкой. Надо было закрыть и снова открыть глаза, чтобы четко увидеть застланную бумагой табуретку и рядом, на маленькой скамеечке сидящую Жабку, и губы ее — извилистые, перепачканные козьим жиром и соусом. Она сидела к окну боком, но не видела Игоря, потому что между ними стояла мать, гладила ее по голове и уговаривала:

— Ешь, дочуля, ешь! Наплюй на него. Ты худенькая, тебе поправляться надо хоть немножко... А он с жиру!

Жабка шмыгала носом от торопливой жадности.

— Только ты ему не говори!

— Что ты, что ты!..

Она ела Детку!!

Больше года жила у Нечесовых эта козочка с необыкновенно красивой, блестящей голубовато-серой шерсткой. В Вадькины руки она попала крошечной, бегала собачонкой за ним повсюду — в лес, на озеро — и до того избаловалась, что днем спала только на диване, а во время обеда могла, вдруг разогнавшись, запрыгнуть на стол, перевернуть чью-то тарелку... Когда этот бич семейный все-таки зарезали, Вадька проревел целый день и объявил, что ни за что, никогда не съест ни вот такусенького кусочка! «Друзей не жрут!» — заявил он.

И Жабка заявила. Тогда она еще не чувствовала себя такой умной, чтоб поучать Вадьку, и только тайком, у себя в комнате, ела Детку.

Игорь так никогда и не сказал Вадьке об увиденном. Не смог. А теперь вот снова и даже сильней, чем тогда, окатило его давней ненавистью. И еще — жалостным презрением к этому самому Зыбченко, который «что, думаешь, такой уж энергичный? Я накручиваю, он и крутится!». И к Вере, к Вадьке, к Аркашке, который приоткрыл рот и чего-то ждет от этой злобной, бахвалящейся дуры.

— Послушай,— сказал он вдруг,— а тебе никто не говорил, что это шантаж?

— Чего-чего? — морщась, повернулась она.

— То, что вы устроили со своим Зыбченко, самый настоящий шантаж.

— О господи! О боже, какие слова! Жизнь прошла, милый, а ты кроме громких слов так ничему и не обучился. Помнишь, как он тебя обозвал тогда?

— Когда это? — удивился Вадик.

— После шестого класса, когда вы в лес сбежали. Ты-то сам вернулся, а его поймали и всыпали, конечно, чтоб не выдумывал.

— А, какие древности!.. Ренегатом,— Вадька улыбнулся.— Но это, учти, было вполне справедливо, ибо я отступил от учения великого Торо! — он торжественно поднял палец.— А ренегат и есть отступник.

— Надо же! — сказала Жанна.— Отступник! А я-то думала что-то желудочное, с похмелья...

Аркашка коротко засмеялся, прикрыв рот ладонью, почти хрюкнул.

— Ей-богу! Я же книжек ихних не читала, надо было уро-

ки учить, матери помогать. Игорь один был такой гений, что и не уча пятерки хватал. Еще бы, всякие слова умел говорить! А я, если хочешь знать, всю ночь тогда проревела, боялась, что Вадьку посадят.

— Почему? — удивился Аркашка.

— Я у матери спросила, а она: «Ренегат, говорит, это вроде предателя».

Аркашка опять с готовностью хрюкнул.

— Вот так. Но твоя беда, Игореха, что отстал ты от жизни. Слова давно никого не пугают! И ты, Аркашик, не бойся,— сказала она как можно ласковей.— Приедет сегодня мой Зыбченко, мы с ним что-нибудь для тебя придумаем.

— Правда? — с готовностью вскинулся тот.— А кого Николай Федорович знает?

— Кого-нибудь да знает. А нет — так узнает!

— Здорово!

— Ишь, как ты обрадовался! — медленно проговорил Игорь.— А? Наметился, значит, эдакий маленький удобоупотребимый блатик, да?

Аркашка уставился на него, широко открыв глаза.

— Ну вот! Вот, видели? — кинулась ему на выручку Жанна.— Теперь он на ребенка напал! Слова у него тут вот,— она ткнула себя пальцем в грудь,— одни слова, ничего больше.

Вадька поднял голову:

— Да ты уж слишком, старик, надо все-таки...

Сердце глухо колотилось, толчками подбрасывая ненависть к горлу. Игорь сделал полшага вперед, собираясь что-то сказать, но Люда опередила его.

— Ой, Игорь, сколько уже времени? — спросила она вдруг.— Я ж совсем забыла: в три мама должна звонить! Да что ж это я? Вы уж нас извините, Вадим Сергеевич.

Игорь как-то обмяк, подумав: «Ну, Людка, выручила».

— Да,— сказал,— как же это и я забыл?

Прощались несколько смущенно, но с видимым облегчением. Вадик проводил их до калитки. Пожимал руки, заглядывал в глаза.

— Приезжайте как-нибудь еще, а, ребята?

— Обязательно, Вадим Сергеевич,— говорила Люда.— Непременно.

Когда проходили по улице вблизи распахнутых окон веранды, их нагнал скрипучий, нарочито громкий голос:

— Это он на меня обиделся. Не вынесла душа поэта тьмы низких истин. Ах-ах! Вот что я в людях ненавижу, так это ханжество!

Игорь приостановился.

— Мамина карьера ей икается,— сказал, напрягая голос.— Спешит всю грязную работу сделать. Морально грязную, потому как нынче...

Люда свирепо дернула его за руку, потащила прочь.

6

Давно ли это было: конец июля, жара, духота, внезапные грозы?

А уже и ноябрь на излете. Елки, ограды, плечи и головы — все присыпано легким, бесшумно скользящим, удивительно белым снежком. Он нежен, доверчив. Ложится на мягкую, не прокаленную морозом землю, а мы бредем понурой толпой и сотнями ног мнем его, вдавливаем, превращаем в грязь.

Дико, нелепо, невозможно понять, и все-таки это так: мы хороним Вадьку Нечесова.

Впереди всех длинноволосый юнец с меланхолическим равнодушием несет на красной подушечке его единственный орден. Потом целая цепочка — венки с белыми и черными лентами, и, наконец, неровно, толчками, потому что несущие оскальзываются в грязи, плывет сам Вадька, смиренно скрестив руки.

Когда хоронили его отца, все было внушительней. Больше орденов, народу, военный оркестр и даже несколько солдат с автоматами для прощального салюта над гробом ветерана.

Да, у Сергея Давыдовича всего было больше, даже жизни. На целых восемнадцать лет — и это несмотря на войну, голод, три ранения... Обидно, что Вадька — Вадька! — умер так рано, и еще обидней, что так обыденно, чуть ли не по-чиновничьи. Конечно, мы всегда знали, что умрем, но допускали это только в такой редакции: «...постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом...» Он же просто понервничал на каком-то там заседании и — инфаркт, а в больнице, недели через две,— второй. И все, и нет человека.

Гроб опускают на рыжую глину. Несшие расходятся, вытирая красные, вспотевшие лица. Начинаются речи. Выходит кто-то совсем мне незнакомый, черняво-седоватый, маленький, в огромных очках на остром носу.

— Вадим Сергеевич был,— говорит он и судорожно глотает воздух,— Вадим Сергеевич был... он был...— и, махнув рукой, поспешно отходит, дергая, вырывая из кармана дубленки неподатливый носовой платок.

Речей много, но другие вовсе не так прекрасны. Сам Вадька слушает их равнодушно, лохматые серые брови его не

шевелятся. В них запуталось несколько крупных снежинок. И еще — в уголках крепко сжатых губ. Беловолосая девушка, наклоняясь, смахивает их чистым платочком.

Я ее не знаю, никогда не видел. Может, это Аркашкина любовь?

Они вместе держат под руки густо поседевшую Веру. Под черным кружевным платком лицо ее уже совсем старушечье.

Аркашка выпятил подбородок, смотрит поверх голов — выражение у него скорее испуганное, напухшая губа чуть отвисла... Когда Вера начинает оседать, подгибая колени, на его лице ясно отражается физическое усилие, еще большая растерянность и почти стыд; но Вера опять выпрямляется, сглатывая подкатившие рыдания. Не так воспитано наше поколение, чтобы рыдать на кладбище, целовать покойнику руки и спрашивать, на кого он покинул тебя. Ни на кого, Вера, держись!

Слишком много говорят все эти холеные, довольные собой мужички, которые — увы! — тоже наше поколение. А снег все падает и падает на Вадькино лицо. Девушка наклоняется со своим платочком, но и Вера делает шаг, опережая ее. Она стоит на коленях и гладит Вадьку по голове, по остаткам пепельных, намокших от снега кудрей, ощупывает нос, уголки губ. Движения ее быстры и легки, как у слепой, и она, как слепая, не смотрит на то, что под пальцами. Ее подхватывают, появляется откуда-то скляночка с нашатырем, валерьянка, которую она выпивает, стуча о стакан зубами.

Потом, в свой черед, я подхожу к гробу, сжимаю Вадькины плечи: «Прощай, старик!» Лоб его холоден и тверд, человека нет. Может быть, прощальное это прикосновение для того и нужно, чтобы убедиться: человека нет. Как и тебя не будет когда-то...

Игорь с Людой все время держатся чуть поодаль, во втором ряду. Лицо у Игоря напряженно-вытянутое. Только потом, когда венки уже сложены на могилу и свечи зажжены, они подходят к Вере.

— Игорь,— полувопросительно, словно с трудом узнавая его, говорит она,— Игорь, он так любил тебя, так любил...— и плачет, припав к его груди.

Игорь гладит ее по голове, что-то шепчет, лицо его медленно разглаживается, проясняется... Слезы катятся вдоль длинного носа.

На обратном пути к воротам я догоняю его и Люду, беру под руки.

— Вот и все,— говорю,— старичок. Вот и все...

Мы идем молча до самых ворот. Здесь останавливаемся, не зная, что делать и куда идти дальше. Множество народу так же, как и мы, топчется в нерешительности. Жанна быстро перебегает от одной группы к другой и, энергично взмахивая кулачком, распределяет всех по автобусам.

Снег перестал, и сразу заметно потеплело, слышно, как с сосен падают крупные капли. Весь снег исклеван ими.

— Дирижер смерти,— говорит Игорь.

— Кто?

Он подбородком указывает мне на Жанну.

Потом она подходит и к нам.

— Надеюсь, вы будете на поминках?

Мы молча наклоняем головы.

— Садитесь в ПАЗик.

— Да нет,— говорю,— спасибо, сейчас Санатский подойдет, он с машиной.

— А... Ну хорошо,— она уже делает шаг в сторону, чтобы повернуться, но приостанавливается и вздыхает: — Устала я! Вера все эти дни не в себе, Аркашка ребенок, на все я одна со своим Зыбченко. Но все как будто нормально, а?

— Да,— говорю,— ты молодец.

— Отличный похоронный распорядитель.

— Что? — она резко поворачивается к Игорю, и глаза ее делаются зелеными.— А ты? Не хотела, а вот скажу: ты про меня под окном гадость крикнул, а к нему потом ночью «неотложку» вызывали, знаешь ли ты это?

И повернувшись, быстро идет прочь, энергично, как бы отбрасывая что-то, взмахивая правой рукой. Я делаю несколько шагов вслед — удержать, исправить, примирить. Но — куда там!

А Санатского с машиной все нет и нет.

— Пойдем вдоль дороги,— говорю я.— Догонит.

Мы идем.

— Господи,— бормочет Люда,— господи, что это с вами?

— Со мной?

— Со всеми. Я ничего не понимаю. Вы все друзья... ничего не понимаю,— судорожно бормочет она.— Мы три года жили на Севере, и он никогда не был таким, да-да, честное слово! Вы должны любить друг друга, а вы... И даже сегодня...

Я хочу сказать ей,— отнюдь не расписываясь за все поколение, а только о нашей компании,— хочу сказать, что у нас было слишком трудное детство, потом романтичная, взахлеб радостная, переполненная надеждами юность и слишком будничная зрелость, а это такие перепады, через которые ни один организм не может пройти без потерь. И еще я хочу сказать...

Но она вот-вот заплачет, я спохватываюсь, и мне становится стыдно, что там, у могилы, я, оказывается, сочинял все эти слова. Всего лишь слова...

— Нервы, Людочка, это ничего,— бормочу я,— просто у всех слишком натянуты нервы.

Она все-таки плачет, и я как можно ласковей сжимаю ее руку:

— Успокойтесь, Людочка, успокойтесь! — и беспомощно смотрю на Игоря.

Он весь напряжен, вытянут и, видимо, слишком занят тем, что происходит в нем.

Мы останавливаемся на краю лужи, я что-то опять бормочу; холодная морось оседает на наши головы, и вороны с криком пролетают над нами.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Васильевич Кавторин

ОДНАЖДЫ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ

Рассказы

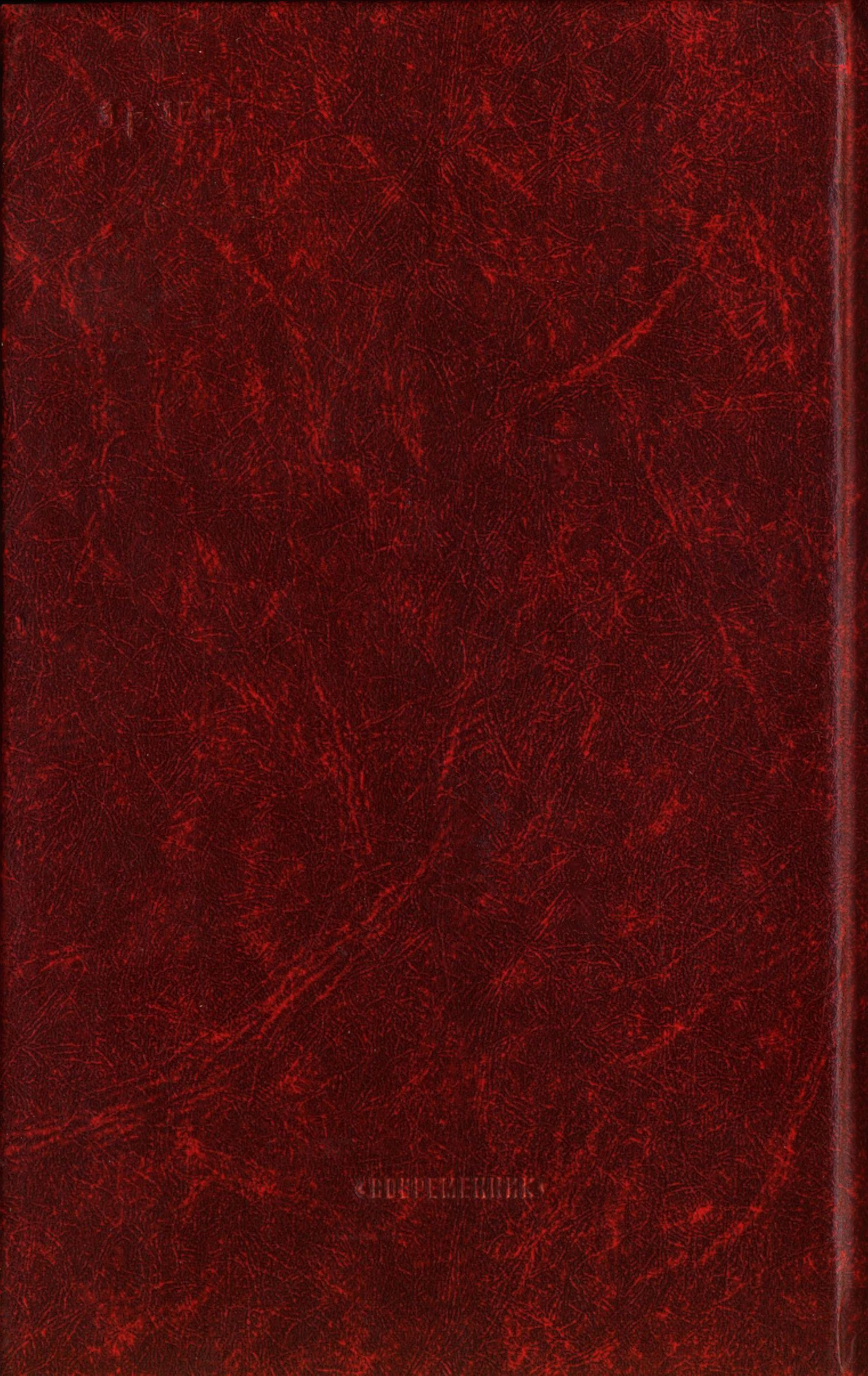
Редактор **М. Подзорова**
Художественный редактор **А. Дианов**
Технический редактор **Н. Децко**
Корректоры **И. Попова, Г. Панова**

ИБ № 3602

Сдано в набор 19.12.84. Подписано к печати 19.03.85. А13044. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 10,08. Усл. краск. отт. 10,08. Уч.-изд. л. 11,7. Тираж 150 000 экз. Заказ 382
Цена 1 р. 10 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Отпечатано с диапозитивов ордена Трудового Красного Знамени фабрики «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сущевский вал, 49, в Калининском ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.


«СОВРЕМЕННИК»

ВЛАДИМИР КАВТОРИН